

ЖЕНСКИЕ
ТАИНЫ

МАРЛЕН ДИТРИХ

К. У. ГОРТНЕР



Женские тайны (Азбука-Аттикус)

Кристофер Гортнер

Марлен Дитрих

«Азбука-Аттикус»

2016

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Гортнер К. У.

Марлен Дитрих / К. У. Гортнер — «Азбука-Аттикус»,
2016 — (Женские тайны (Азбука-Аттикус))

ISBN 978-5-389-13076-0

Она всемирно известная актриса, создавшая один из совершенных кинематографических женских образов и оказавшая яркое, незабываемое влияние на моду, кино, стиль и женское сознание. Прекрасная и обаятельная женщина, одновременно порочная и невинная, вызывающе сексуальная и неприступная. Она стала свидетельницей всех главных событий XX века: от двух мировых войн до падения Берлинской стены, от зарождения кинематографа до появления Интернета. Пленительная и разгульная, ветреная и верная, взбалмошная и домовитая, образцовая дочь и посредственная мать, антифашистка и эмигрантка, скрипачка и кулинар – так неоднозначно оценивали актрису ее почитатели и хулители. «Великолепная», – называл ее Эрнест Хемингуэй. Ее звали Марлен Дитрих. И это история, рассказанная от лица героини, что усиливает эффект присутствия читателей внутри иллюзорного мира, созданного этой великой женщиной. Впервые на русском языке!

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-389-13076-0

© Гортнер К. У., 2016
© Азбука-Аттикус, 2016

Содержание

Сцена первая	7
Глава 1	8
Глава 2	13
Глава 3	19
Глава 4	25
Глава 5	28
Глава 6	35
Сцена вторая	39
Глава 1	40
Глава 2	45
Глава 3	50
Сцена третья	55
Глава 1	56
Глава 2	59
Глава 3	63
Глава 4	73
Конец ознакомительного фрагмента.	78

К. У. Гортнер Марлен Дитрих

C. W. Gortner
MARLENE

Серия «Женские тайны»

Copyright © 2016 by C. W. Gortner

© Е. Бутенко, перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА®

* * *

Моему отцу

*В душе я – джентльмен.
Марлен Дитрих*

Сцена первая
Школьница
1914–1918 годы

К своему рождению я не имею никакого отношения.

Глава 1



Впервые я влюбилась, когда мне было двенадцать.

Это случилось в школе Августы-Виктории в Шёнеберге, пригородном районе к юго-западу от Берлина. За экстравагантным лепным фасадом приземистого здания, защищенного от внешнего мира коваными железными воротами, скрывался кроличий лабиринт холодных классных комнат. Здесь я изучала грамматику, арифметику и историю, далее следовали занятия по домоводству и час укрепляющей гимнастики, а заканчивался длинный учебный день весьма поверхностным уроком французского.

Школу я недолюбливала, но способности тут были ни при чем. В детстве моим образованием занимались гувернантки; правда, в основном их внимание получала из-за слабого здоровья моя старшая сестра-погодок Элизабет; в семье ее звали Лизель. Английский и французский, уроки хороших манер, танцы и музыка значились в нашем распорядке ежедневно, и мать требовала безупречного освоения этих предметов. Будучи лучше многих других подготовленной к строгостям обучения, школу я не выносила, потому как не уживалась с одноклассницами, терпеть не могла их перемазанные джемом пальцы и вечные секреты. Все они были давно знакомы друг с другом, а меня за робость прозвали Мышь, не догадываясь, что «робость» – это последнее слово, которое мать использовала бы для описания моих личных качеств.

Никаких жалоб она выслушивать не желала. Мне было шесть лет, когда от остановки сердца умер папа. Необходимость жесткой экономии возникла вслед за нашим горем. Приличия должны соблюдаться. Как ни крути, а вдова Йозефина Дитрих происходила из уважаемого берлинского семейства Фельзинг, основателей знаменитой компании по производству часов «Фельзинг», которая уже более сотни лет осуществляла свою деятельность по имперскому патенту. Мама отказалась воспользоваться помощью семьи, хотя страховой суммы, выплаченной по случаю смерти отца, служившего лейтенантом полиции, хватило ненадолго. Гувернантки, как непозволительная роскошь, исчезли сразу после похорон. Мама нанялась к частному лицу управляющей. Для Лизель, из-за ее смутно диагностированного недомогания, она установила расписание учебных занятий на дому. Меня же втиснула в жесткую серую форму и лакированные ботинки, сдавившие пальцы, разделила волосы надвое и заплела косы, увенчав их гигантскими бантами из тафты, – после чего отвела в школу, где беспорочные старые девы должны были повлиять на мой характер.

– Веди себя хорошо, – увещевала мать. – Следи за своими манерами и делай, что велят. Это ясно? И чтобы я не слышала, что ты хвастаешься. У тебя масса преимуществ перед другими, но ни одна из моих дочерей не должна задаваться.

Ей ни к чему было беспокоиться. Дома мне часто выговаривали за владевший мною дух соперничества – вечное стремление в чем-либо превзойти Лизель. Но, ступив на школьный двор, я сразу поняла, что лучше не высовываться и делать вид, будто почти ничего не

умею. Меня потрясли племенные клики и подозрительные взгляды сплоченных одноклассниц. Никто не мог допустить, что я имею более чем зачаточные представления о всех предметах, включая французский – язык, который любая благовоспитанная девушка из приличной семьи должна была учить, но ни одна немецкая благовоспитанная девушка не должна была знать слишком хорошо, так как он, со своим грассирующим «эр» и обольстительным «эс», нес в себе намек на запретное. Чтобы отвлечь от себя внимание, я, изобразив безразличие, заняла свободное место за последней партой в дальнем конце класса и затаилась, как мышь, что прячется у всех на виду.

До того самого дня, когда появилась наша новая учительница французского.

Из ее кички выбивались пряди орехового оттенка, а круглые щеки горели, будто она стремглав неслась по коридору, опаздывая на урок, как и было на самом деле. Прозвенел звонок, и девочки, сдав вырванные из прописей листки с нацарапанными упражнениями, столпились в проходах пошущукаться.

Вдруг в класс влетела она, долгожданная замена мадам Сервен, которая так неудачно упала, что это спровоцировало ее выход на пенсию. Над бровями новой учительницы выступили капельки пота от необычной даже для июля жары. Она грохнула на стол принесенные книги – и все девочки вскинулись и сели прямо.

Мадам Сервен не терпела промедлений. Многие здесь были знакомы с резкими ударами ее линейки по коленкам или костяшкам пальцев за поведение, которое мадам считала дерзостью. А эта устрашающая молодая женщина с растрепанными волосами и кипой увесистых томов в руках вполне могла оказаться столь же грозной.

Со своего привычного места на галерке я смотрела поверх плеч сидевших впереди учениц туда, где, утирая лоб платком, стояла француженка.

– Mon Dieu, – сказала она, – il fait si chaud¹. Я не думала, что в Германии будет так жарко.

В животе у меня заурчало от возбуждения.

Никто не произнес ни слова. Небрежным жестом она засунула влажный платок под манжету блузки.

– Bonjour, mesdemoiselles². Я мадемуазель Бреган, ваша новая учительница до конца семестра.

Представляться было необязательно. Мы и так знали, кто она, ждали ее уже несколько недель. Пока школа подыскивала замену мадам Сервен, час французского превращался для нас в бесконечную зубрежную сессию под надзором язвительной фрау Беккер. От ясно различимого акцента нашей новой наставницы тишина в классе лишь сгустилась. В ее голосе безошибочно угадывалась парижская напевность, и я почувствовала, как девочки вокруг меня скривились. Мадам они называли l’Ancien Régime³ за лорнет и клацание зубного протеза при произнесении accents graves⁴, а еще за черное платье с высоким воротником, какие носили на рубеже столетий. А эта женщина была одета в блузку с воротничком и манжетами, отороченными кружевом. Стройную фигуру подчеркивала модная юбка длиной до лодыжек, из-под которой виднелись симпатичные ботиночки. Намного младше мадам, эта мадемуазель определенно могла проявлять бо́льшую энергичность.

Я слегка расправила плечи и выпрямила спину.

– Allez, – произнесла учительница. – Ouvrez vos livres, s’il vous plaît⁵.

¹ Боже мой, какая жара (фр.). – Здесь и далее примеч. перев.

² Добрый день, мадемуазели (фр.).

³ Старорежимница (фр.).

⁴ Аксан грав – диакритический знак, который ставится над гласной и обозначает открытый звук.

⁵ А теперь начнем. Откройте, пожалуйста, ваши книги (фр.).

Девочки не шелохнулись. Я потянулась к учебнику, а мадемуазель объяснила по-немецки:

– Ваши тетради. Пожалуйста, откройте их. – (Я подавила усмешку.) – Сегодня мы поспрягаем глаголы, хорошо? – продолжила она и обвела взглядом класс.

Никто не отреагировал. Ни одна не потрудилась заглянуть в учебник с тех пор, как мадам столь своевременно оставила работу. Им до французского не было дела. Судя по нескольким подслушанным разговорам, целью их жизненных устремлений было скорейшее замужество, чтобы отделаться от родителей. *Kinder, Küche, Kirche*: дети, кухня, церковь. Это была единственная амбиция, которую внушали всем немецким девочкам, так же как нашим матерям и бабушкам. Какой прок от французского, к чему его приспособить? Разве что кому-нибудь не посчастливится выйти замуж за иностранца.

Мадемуазель Бреган наблюдала за нетерпеливым перелистыванием страниц, не зная, что сказать, или не желая комментировать отчаяние, сквозившее в движениях учениц. Пренебрежение домашней работой было проступком, соблазнительным и пугающим для каждой. Мадам славилась своей манерой заставлять учиться: не выпускала из-за парты до самой ночи, пока провинившаяся не выполнит задание либо не упадет от усталости.

Но вдруг – я глазам не поверила – лицо мадемуазель осветилось озорной улыбкой. Это было так неожиданно в нашем смиренном доме, где учителя нависали над нами, как вороны, что от тепла этой улыбки я остолбенела, а водоворотик эмоций в моем животе превратился во взбитые сливки.

– Давайте начнем с глагола «быть», – произнесла учительница, склонив голову набок. – Être: je suis, je serai, j'étais. Tu es, tu seras, tu étais. Il est, il sera, il était. Nous sommes, nous serons, nous étions...⁶

Она мерила шагами узкие проходы между рядами и вслушивалась в ни на что не похожие звуки, изуродованные хоровой декламацией. Усилия учениц выглядели жалкими и являли свидетельство нерадивости и отсутствия всякого почтения к языку, но мадемуазель Бреган никого не поправляла, лишь повторяла спряжение, подавая пример для подражания.

Так она дошла до моей парты. Остановилась. Подняла руку. Девочки притихли. Зафиксировав на мне янтарно-зеленый взгляд, учительница сказала:

– Répétez, s'il vous plaît⁷.

Мне хотелось, чтобы моя речь прозвучала так же ужасно, как у остальных, лишь бы меня не выделили. Но язык не послушался, и я сбивчиво залепетала:

– Vous êtes. Vous serez. Vous étiez⁸.

В ушах пощечиной прозвучал сдавленный смешок соседки.

Теплая улыбка вернулась на уста мадемуазель. На этот раз, к моему смущению, но и к радости, обращена она была ко мне.

– И остальное?

Я шепотом проговорила:

– Vous soyez. Vous seriez. Vous fûtes. Vous fussiez⁹.

– А теперь используйте этот глагол в предложении.

Я в раздумье прикусила нижнюю губу, а потом выпалила:

– Je voudrais être connue comme personne qui vous plaise¹⁰, – и немедленно пожалела о сказанном.

⁶ Я есть, я буду, я был. Ты есть, ты будешь, ты был. Он есть, он будет, он был. Мы есть, мы будем, мы были... (фр.)

⁷ Повторите, пожалуйста (фр.).

⁸ Вы есть, вы будете, вы были (фр.).

⁹ Вы будьте. Вы были бы. Вы были. Чтобы вы были (фр.).

¹⁰ Я хотела бы, чтобы меня знали как человека, которому вы симпатичны (фр.).

Что овладело мною, заставив произнести слова столь... столь откровенные, столь дерзкие? Столь неестественные для меня.

Не смея поднять глаз, я почувствовала на себе пристальные взгляды. Девочки могли и не понять, о чем речь, но моей интонации было достаточно.

Я сбросила с себя маску.

– Oui, – сказала мадемуазель. – Parfait¹¹.

Она двинулась вдоль прохода, повторяя фразу, чтобы ученицы следовали образцу. Я сидела, примерзнув к месту, пока кто-то не ткнул меня пальцем под ребра. Повернувшись, я увидела темноволосую худенькую девочку с личиком эльфа.

– Parfait, – подмигнув, прошептала она. – Превосходно.

Такой реакции я и не предполагала. Думала, одноклассницы дождутся последнего звонка, подкараулят меня за воротами и отлупят за то, что я их надула и пыталась подлизаться к новой учительнице. Однако в лице моей соседки, насколько я смогла заметить за краткий миг нашего общения, не было ни негодования, ни злости. Скорее, на нем отобразилось... восхищение.

После того как наша наставница дала задание на дом и девочки вереницей потянулись к выходу, я попыталась проскользнуть мимо учительского стола и была уже почти у двери, когда услышала:

– Мадемуазель, подождите, пожалуйста.

Я остановилась и с опаской обернулась через плечо. Ученицы проталкивались мимо меня, одна из них насмешливо бросила:

– Мышка Мария вот-вот заработает свою первую золотую звезду.

Я осталась одна под задумчивым взглядом мадемуазель Бреган. Вечернее солнце проникло в класс сквозь пыльные окна и подсвечивало отливавшие медью волосы учительницы, собранные в неаккуратный узел. Кожа у нее была розовая, с нежным пушком на щеках. Колени мои ослабели. Я не понимала, зачем сказала то, что сказала, но у меня было тревожное чувство, что ей-то это ясно.

– Мария? – вопросительно повторила она. – Тебя так зовут?

– Да. Мария Магдалена, – с трудом выговорила я из-за сильного волнения, сдавившего горло. – Мария Магдалена Дитрих. Но я предпочитаю... В семье все называют меня Марлен. Или Лена, для краткости.

– Хорошее имя. Марлен, ты прекрасно говоришь по-французски. Учила язык здесь? – Не успела я ответить, как она рассмеялась. – Конечно, это не так. Все остальные: *C'est terrible, combien peu ils savent*¹². Тебе нужно быть в другом классе. Ты намного опережаешь их.

– Пожалуйста, мадемуазель. – Я прижала сумку к груди. – Если директриса узнает, она будет...

– Что? – вскинула голову учительница. – Что она сделает? Уметь говорить на другом языке – это не преступление. Ты будешь напрасно терять здесь время. Разве не лучше потратить этот час на то, что действительно можешь выучить?

– Нет. – Я еле сдержала слезы. – Мне... мне нравится учить французский.

– Понимаю. Хорошо. Тогда посмотрим, что можно сделать. Твой секрет я не выдам, но за других не ручаюсь. Они, может, и нерадивы, но не глухи.

– Merci, Mademoiselle¹³. Я буду очень стараться, вы увидите. Я хочу всегда радовать вас.

¹¹ Да. Отлично (*фр.*).

¹² Это ужасно, как мало они знают (*фр.*).

¹³ Спасибо, мадемуазель (*фр.*).

Это была стандартная фраза, за которой следовал неловкий реверанс. Делать так меня научила мама – по воскресеньям после церкви мы совершали светские визиты к почтенным вдовам, они приглашали нас на чашку горячего шоколада и штрудель.

Я устремилась к двери, чтобы поскорее скрыться и от светящихся весельем глаз мадемуазель Бреган, и от собственной порывистости.

За спиной раздались ее слова:

– Марлен! Ты меня радуешь. Очень радуешь.

Глава 2



Домой я неслась вприпрыжку, размахивая сумкой. Пересекая трамвайные пути и уворачиваясь от уличных торговцев, которые выкрикивали цены товаров, я не замечала ничего, в голове у меня звучал ее голос, как эхо среди мягкого шуршания листвы лип, выстроившихся вдоль тротуара.

Ты меня радуешь. Очень радуешь.

Я взбежала по растрескавшимся мраморным ступеням к нашей квартире в доме номер тринадцать по Тауэнтцинштрассе, без слов напевая что-то себе под нос, бросила сумку на столик в прихожей и вошла в безукоризненно чистый кабинет, где, сгорбившись над учебниками, сидела Лизель. Она подняла взгляд, вид у нее был такой изнуренный, будто она не вставала со стула уже несколько недель.

– Der Gouverneur¹⁴ здесь? – спросила я и протянула руку к тарелке с последним куском штруделя, которая стояла сбоку от сестры.

Неодобрительная складка глубже залегла между бровями Лизель.

– Ты не должна так называть маму, это неуважительно. И ты сама знаешь, что по вторникам она допоздна работает в резиденции фон Лошей. Вернется к семи. Лена, возьми тарелку, а то крошишь повсюду. Горничная только что ушла.

Я наклонилась к потертому ковру, подобрала несколько крошек, ткнув в них пальцем, и облизала его:

– Вот так.

– Лучше бы взяла швабру.

Пришлось пойти на кухню за шваброй, хотя в этом не было никакого смысла. Мама все равно заново подметет ковер, когда мы ляжем спать, а также вымоет и натрет воском пол. Она никогда не уставала от уборки, невзирая на то что целыми днями делала это для других. За четыре месяца она выгнала столько же служанок, объявив их ленивыми неряхами. Увольнения происходили с такой частотой, что мы с Лизель больше не старались запомнить имя очередной горничной.

Продолжая мурлыкать какую-то песенку, я пошла в гостиную, где стояло маленькое фортепиано и лежала скрипка. Оба инструмента требовали безотлагательной настройки. Скрипку подарила мне на восьмилетие бабушка Ома, после того как домашний учитель музыки убедил маму, что у меня талант. Хотя он отправился вслед за гувернантками, я не перестала заниматься. Музыка я любила, у нас с мамой это был один из немногих общих интересов; в детстве она много лет брала уроки и стала искусной пианисткой. Мы часто

¹⁴ Губернатор (нем.).

играли вместе после ужина, и сейчас я нашла на крышке фортепиано этюд Баха, который мама оставила мне для разучивания.

Когда я положила скрипку на плечо, Лизель сказала:

– Ты сегодня в редкостно хорошем настроении. Что-нибудь особенное случилось в школе?

– Ничего.

Я покрутила колки, желая сберечь изношенные струны. Мама купит новые мне на день рождения, но до декабря еще далеко, так что пока надо постараться обойтись этими. Я провела смычком над кобылкой, раздалось неблагозвучное дребезжание.

– Ничего? – усомнилась Лизель. – Ты никогда не возвращаешься домой с улыбкой. И никогда не начинаешь заниматься прямо с порога. Что-то должно было случиться.

Я стала играть сонату, морщась, когда потертые струны отказывались повиноваться.

– У нас новая учительница французского, – призналась я. – Ее зовут мадемуазель Бреган.

Лизель притихла, следя за моей игрой. Я всего раз или два заглянула в ноты. Несмотря на дряблость струн, этот отрывок я запомнила. Мама будет гордиться мной.

Потом сестра спросила:

– Ты так счастлива из-за появления новой учительницы? Что-то подозрительно. Ты же ненавидишь эту школу. Всегда говоришь, что учителя там сварливые старухи, а девочки болтают ни о чем. Признавайся немедленно. Ты познакомилась с мальчиком?

Смычок соскользнул со струн, концентрация была утрачена. Я уставилась на Лизель, не веря своим ушам, и фыркнула:

– Где бы я могла с ним познакомиться? В моем классе одни девочки.

– Но ты каждый день ходишь домой пешком и видишь мальчиков на улице, – сказала сестра серьезно и даже немного сердито.

– Те мальчики, которых я вижу, гоняют бродячих собак и носятся вокруг, как хулиганы. Я с ними не знакомлюсь, а обхожу стороной.

Мне хотелось добавить, что если она так интересуется мальчиками, то ей надо чаще выходить из дому, но проглотила свою колкость, ведь Лизель не виновата, что у нее слабые легкие, или вялые сосуды бронхов, или что-то там еще, чем она сейчас была больна. Мама постоянно суежилась вокруг нее, что, по моему мнению, ничуть не помогало. Однако факт оставался фактом: моя сестра была «хрупкой» и безропотно вверила себя этому состоянию.

– Я спрашиваю просто потому, что беспокоюсь, – пояснила она. – Мне вовсе не нравится совать нос не в свое дело, но тебе в этом году исполнится тринадцать, ты почти взрослая, и мальчики – ну, они имеют склонность к...

Ее голос смолк. Стало как-то неуютно. Я снова взялась за скрипку и задумалась о сказанном сестрой и еще сильнее о том, чего она недоговорила.

Опыт Лизель в общении с противоположным полом был зеркальным отображением моего. С момента смерти отца единственным мужчиной, которого мы видели регулярно, был наш берлинский дядя Вилли. Но это не в счет, потому что мы с Лизель не были особенно близки, как следовало бы быть родным сестрам. Однако и не враждовали – спали в одной комнате, ссорились редко, но темпераменты у нас были настолько разные, что даже мама не раз отмечала это. Физические отличия бросались в глаза. Лизель была худая и бледная, как тусклая лампа во тьме, с отцовским землистым цветом лица. Я же унаследовала от матери пухлую комплекцию, голубые глаза, вздернутый нос и полупрозрачную кожу, которая становилась свекольно-красной, если я проводила слишком много времени на солнце. Но наши различия простирались гораздо дальше внешности. По мере взросления я начинала понимать, что моя сдержанность на людях была скорее следствием воспитания: мама внушала мне, что именно так должна вести себя девушка. И ей никогда не приходилось напоминать

о сдержанности Лизель, так как у сестры это качество было врожденным. Ее приводили в ужас ситуации, в которых она привлекала к себе внимание. Вот почему Лизель не выходила из дому, кроме как для наших воскресных светских визитов, походов на рынок и ежемесячных поездок в Берлин.

– Думаешь, мальчики могут пристать ко мне? – спросила я, намеренно уставившись на сестру.

Лизель застыла на стуле, выдавая тот факт, что именно это и пыталась сказать.

– А они пристають? – выдохнула она.

– Нет. По крайней мере, я ничего такого не замечала. – Я сделала паузу. – А что, должна была заметить?

– Никогда. – Лизель была потрясена. – Но если вдруг они пристанут к тебе или выразятся как-то неподобающе, проигнорируй это и сразу расскажи обо всем маме.

– Так и сделаю, – согласилась я и, поведив смычком по струнам, добавила: – Обещаю. Я не лгала. Ни один мальчик до сих пор не обращал на меня внимания. Но сегодня кое-кто обратил. И я знала, что это вызвало во мне чувства, в которых я не должна признаваться.

Твой секрет я не выдам.

До сих пор у меня секретов не было. И этот я намеревалась сохранить.

Мама вернулась ровно в пять минут восьмого. Мы уже убрали со стола учебники и тетради Лизель и поставили на него нашу старую керамическую посуду со сколами и трещинками, потому как мейсенский фарфор берегли для особых случаев. Я подогрела кастрюльку с *weisse Bohnensuppe* – похлебкой из белых бобов, которую сварила накануне. Мама не позволяла горничным стряпать, и моей обязанностью стало каждый день кормить нас ужином. Готовить мне нравилось, и я справлялась с этим лучше Лизель, у которой вечно то соус подгорал, то мясо не прожаривалось. Как и во время музицирования, я находила успокоение в упорядоченности действий при строгом соблюдении рецепта – в смешивании положенных ингредиентов ровно так и в таких количествах, чтобы получить желаемый результат. Мама сама учила меня, однако, как и в любых других случаях, она не доверяла ничьим умениям, кроме собственных, а потому прямо с порога, не сняв ни шляпы, ни перчаток, вошла на кухню, чтобы проверить кастрюлю.

– Немного подсоли, – велела она, – и убавь огонь, иначе все превратится в кашу.

Развернувшись, мама удалилась в спальню, а через несколько минут появилась оттуда в домашнем платье и переднике. Темно-русые волосы были скручены в узел на затылке. Я никогда не видела ее с распущенными волосами, даже когда она умывалась; похоже, вдовам не полагалось демонстрировать окружающим свободно висящие локоны.

– Как прошел день в школе? – спросила она, показывая мне, что пора подавать похлебку.

– Хорошо, – ответила я.

Мать кивнула. Интересно, заметила бы она, если бы я сообщила, что школа сгорела дотла? Сомнительно. Она задавала свои дежурные вопросы просто из вежливости. Мой ответ был формальным.

Ели мы молча, посторонние разговоры за столом не одобрялись. Когда я вытерла тарелку хлебом (у меня был отменный аппетит), мать закудаhtала:

– Лена, что я тебе говорила?

Ее отповеди я знала наизусть: «Девочки из приличных семей не макают хлеб в еду, как крестьяне. Если хочешь добавки, попроси».

Я никогда не просила. Если бы я это сделала, то услышала бы, что девочки из приличных семей никогда не просят добавки. Неконтролируемый аппетит обнаруживал недостаток подобающей утонченности.

Мы с сестрой вымыли тарелки и убрали их в буфет. Пока был жив папа, это был час, когда мы старались скрыться с глаз, чтобы родители могли уединиться в гостиной, где мама играла на фортепиано, а отец курил трубку и потягивал свой вечерний Weinbrand¹⁵. Но теперь его нет, и мы уже подросли, так что сестра устроилась на диване, а мама стала проверять, как я исполняю сонату Баха.

По обыкновению, я нервничала. Моя мать, может, и не имела большого опыта игры на скрипке, но у нее был абсолютный слух, а я хотела доказать ей, что исправно занимаюсь каждый вечер, как было велено. Йозефина Фельзинг не приучала нас к дисциплине путем физических воздействий. Ударила она меня всего один раз. Это случилось на уроке танца, мне тогда было десять лет, я отказалась встать в пару с мальчиком, у которого изо рта несло луком. Никогда не забуду, как мать промаршировала ко мне на глазах у других детей и их родителей, чтобы вклеить унижительную пощечину, сопроводив ее внушением: «Мы не проявляем эмоций на публике. Это грубо». С тех пор я изо всех сил старалась не провоцировать ее. Хотя вошедшие в поговорку розги она не применяла, ее язык мог доставить столько же мучений, а по отношению к лени у нее было еще меньше терпения, чем к грязи или хамству. «Tu etwas» был ее девиз: «Делай что-нибудь». Мы запомнили, что праздность – это самый страшный грех, которого необходимо избегать любой ценой.

Я закончила сонату без ошибок. Мама откинулась на спинку скамьи, стоявшей перед фортепиано.

– Лена, это было великолепно, – произнесла она с чувством, какого никогда не выказывала, если только я не превосходила ее ожиданий.

На душе стало легко. Материнская похвала была столь большой редкостью, что я испытала гордость, будто совершила подвиг.

– Ты занималась, – продолжила она. – Это заметно, но нужно развиваться дальше. Пройдет немного времени, и мы организуем прослушивание, чтобы ты получила стипендию на учебу в Веймарской консерватории.

– Да, мама, – кивнула я.

Эта престижная консерватория в Веймаре была ее мечтой, не моей. Мать верила, что талант проложит мне дорогу к карьере концертирующей солистки, а мое мнение на этот счет ее не интересовало. Девочки из хороших семей делают то, что велят им матери.

– А ты, моя дорогая? – взглянула мать на Лизель, которая в конце моего выступления зааплодировала. – Не хочешь что-нибудь исполнить для нас на пианино?

Очевидно, возмущенно подумала я, мнение сестры имело значение, потому что, когда она ответила: «Простите, но у меня болит голова», мама вздохнула и закрыла на ключ крышку инструмента со словами: «Тогда тебе нужно лечь в постель. Уже поздно, а нам всем завтра рано вставать».

Раньше, чем обычно? Про себя я застонала. Это означало, что для нас есть работа по дому, которую мы должны сделать до того, как я уйду в школу, а мать на службу. Убирая скрипку в чехол, я сердито размышляла: зачем мы вообще держим горничную? Если учесть наши ежедневные обязанности и мамин вечерний ритуал – могу поспорить, ей не терпелось отправить нас по кроватям, чтобы атаковать паркет в прихожей, – плата горничной была, разумеется, еще одной бессмысленной тратой.

– Прежде чем мы разойдемся, – сказала мама, – у меня есть важная новость.

Я замерла в изумлении. Новость?

Мы ждали, а мать смотрела на свои натруженные руки, которые уже не могло оживить никакое количество кремов и лосьонов, – видимое доказательство того, что Вильгельмина Йозефина Фельзинг, известная в обществе как вдова Дитрих, постепенно опускалась. Она

¹⁵ Бренди, производимый в немецкоязычных странах.

продолжала носить золотое обручальное кольцо, которое с трудом пролезало сквозь распухшую костяшку пальца, и сейчас покрутила его другой рукой. Что-то в ее жесте вызвало у меня нервное напряжение.

– Я снова выхожу замуж, – выдала она.

Лизель так и обмерла, а я недоверчиво спросила:

– Замуж? За кого?

Мать нахмурилась. Я сжалась в ожидании отповеди, мол, дети не должны задавать таких вопросов старшим, но она ответила:

– За герра фон Лоша. Как вы знаете, он вдовец, детей у него нет. Тщательно все обдумав, я решила принять его предложение.

– За герра фон Лоша? – Я была ошарашена. – В доме которого ты убираешь?

– Я там не убираю. – Хотя мать не повышала голоса, тон ее стал резким. – Я наблюдаю за его содержанием. Я Haushälterin¹⁶. Убирают горничные, а я слежу за ними. Ты, Лена, закончила задавать вопросы?

Я не закончила. В голове у меня крутилась еще сотня, но я лишь сказала:

– Да, мама, – и отступила к сестре, полагая, что только что заслужила свою вторую в жизни пощечину.

– Свадьба будет в следующем году, – объявила мама и встала, огладив руками передник. – Я попросила время на подготовку, и он его дал. Прежде всего я, конечно, должна поставить в известность бабушку и дядю Вилли, чтобы они дали свое благословение и представляли меня у алтаря. Вот почему завтра мы должны встать пораньше. Я пригласила их в гости. Пока они не приехали, мы много чего должны сделать, если хотим привести этот дом в порядок.

Если она не собиралась переставлять мебель, я не могла придумать, что еще мы могли предпринять. Каждую субботу после похода на рынок мы отскребали всю квартиру, забираясь в каждый уголок и в каждую щелочку, которую обошла своим вниманием горничная. И все равно, как бы мы ни начищали квартиру, всем было видно, что, в отличие от дома бабушки и дяди Вилли, наше жилище – съемное, хотя и неплохое, но отнюдь не роскошное. Однако я не смела больше произнести ни слова, меня слишком потрясла неожиданная новость.

Мама снова выходит замуж. У нас с Лизель будет отчим – чужой человек, которого нужно уважать и слушаться.

– Мы еще не решили, где будем жить, – сказала мама, – но, полагая, после свадьбы переедем в его дом в Дессау. На следующей неделе я отправлюсь туда посмотреть, подойдет ли нам это. А вы пока никому ничего не говорите. Не хочу, чтобы соседи начали сплетничать раньше времени или уведомили домовладельца, что мы скоро съедем. Это понятно?

– Да, – хором отозвались мы с Лизель.

– Хорошо, – попыталась улыбнуться мама, но с ней это случалось так редко, что вместо улыбки вышла какая-то гримаса. – А теперь умойтесь и произнесите молитвы.

Мы отвернулись, чтобы выйти, как она окликнула меня:

– Лена, не забудь вымыть за ушами.

Лизель молчала все время, пока мы по очереди совершали вечерний туалет в нашей тесной умывальной комнате, раздевались и забирались в одинаковые узкие кровати. Нас разделяла тумбочка, я могла бы протянуть руку и дотронуться до сестры, но не сделала этого, легла на спину и уставилась в потолок.

Услышав возню матери в прихожей с ковриками и воском, я прошептала:

– Зачем она это делает, в ее-то возрасте?

¹⁶ Экономка (нем.).

– Ей всего тридцать восемь, – вздохнула сестра. – Это не так много. Герр фон Лош – полковник королевских гренадеров, как и папа. Должно быть, порядочный человек.

– По-моему, тридцать восемь – это достаточно много, – возразила я. – И откуда нам знать, что он порядочный? Она следит за его горничными. Что она может знать о нем, кроме того, сколько крахмала уходит на его рубашки? – Голос мой стал тверже. – И Дессау так далеко, что мне придется уйти из школы.

– Лена, – повернулась ко мне Лизель, ее глаза казались двумя дырками, проткнутыми во тьме, – ты не должна допытываться что да как. Она делает все, только чтобы нам было лучше.

В этом я почему-то сомневалась. Выйти замуж за незнакомца и перевернуть все наше существование – разве кому-нибудь от этого станет лучше, за исключением ее самой и герра фон Лоша?

– Когда женщина одинока, это ужасно, – продолжила Лизель. – Тебе не понять, но быть вдовой с двумя дочерьми – это проверка на прочность.

Сестра отвернулась и подтянула одеяло к подбородку. Через несколько минут она уже сладко посапывала. Ничто в ней не возмущалось. Что бы мама ни говорила и ни делала, Лизель всегда со всем соглашалась. Кабинет тут или там – какая ей разница?

У меня же были свои интересы. И свой секрет.

Комкая в кулаках одеяло, я долго не могла уснуть.

Глава 3



Выходные я пережила с трудом. Мама не могла не заметить моего состояния, особенно когда Лизель прошептала: «Хватит сверкать глазами!»

Однако от каких-либо наказаний мать воздержалась и заставила нас намывать всю квартиру, включая полы и окна, прежде чем получила известие, что дядя Вилли приехать не сможет. Вместо этого, к моему удовольствию, она сообщила, что мы поедем повидаться с ним в Берлин.

В этом городе мне очень нравилась улица Унтер-ден-Линден – широкий бульвар с роскошными торговыми центрами. Тут мы посетили часовую компанию «Фельзинг», которой управлял дядя Вилли. Обрадованный нашим появлением, он отвел нас в confiserie¹⁷ за ванильными пирожными и марципанами, а потом в кафе «Бауэр» на Фридрихштрассе, где мы взяли по чашке горячего шоколада. Я была ненасытной сладкоежкой, и мама, несмотря на всю ее строгость за столом, потакала этому моему греху, так как девушка, не лишенная плоти на костях, тем самым доказывала, что происходит из здоровой семьи. Я съела свою порцию, но, кроме того, хотя сестра и сверлила меня полным ужаса взглядом, тихонько завернула в носовой платок несколько марципанов и спрятала их в карман, пока дядя Вилли оплачивал счет.

Мама ни словом не обмолвилась о предстоящем браке, по крайней мере в нашем присутствии, хотя в какой-то момент я поняла, что дядю Вилли она обо всем уведомила. Мать не считала нужным обсуждать с нами свои решения, и, разумеется, мы находились не в том положении, чтобы подвергать их сомнениям.

Однако во мне разыграл бунтарский дух. На следующей неделе я ощутила такую беспомощность перед неотвратимыми изменениями в собственной жизни, что совершенно перестала притворяться и в школе открыто соперничала за внимание мадемуазель Бреган. Я первой сдавала безупречно выполненные домашние задания, первой поднимала руку и отвечала на любые вопросы, при этом не реагировала на сердитые взгляды одноклассниц, когда мадемуазель хвалила меня за прилежание.

– Пусть Мария будет для всех примером, – обращалась к девочкам учительница, одаривая меня вожделенной улыбкой. – Она показала, что при должном старании заговорить по-французски может любой.

Как и подозревали многие, я взяла старт, имея преимущества, которых другие были лишены, и не заботилась о том, чтобы расположить к себе класс, – мне было не до того. Я хотела лишь одного: вызвать симпатию у мадемуазель Бреган. Марципаны, прихваченные в кафе, стали маленькими подарками: завернув сладкий шарик в обрывок кружевной салфетки

¹⁷ Кондитерская (фр.).

и украсив маковыми зернышками, я каждый день оставляла его после урока на учительском столе. А когда моя наставница восклицала: «Какая ты заботливая!» – я опускала глаза и бормотала: «De rien¹⁸, Mademoiselle». То, что в кармане марципан помялся и отмок, не имело значения. Важным было лишь выражение моей благодарности.

Однажды на той же самой неделе мама отправилась в Дессау, чтобы проверить, может ли дом фон Лошей стать нашей новой семейной резиденцией, – а это означало, что вернется она поздно, – мадемуазель пригласила меня на прогулку. Хотя я и обещала, что после школы сразу пойду домой помогать Лизель с ужином и другими домашними делами, – как и было предсказано, очередная горничная уже упаковала чемоданы, – однако осталась ждать учительницу за воротами. Она вышла в соломенной шляпке-канотье и с сумкой, полной книг.

– Ну что, пойдем? – сказала мадемуазель, и я безропотно побрела рядом с ней на бульвар.

Мимо шли дамы в туго зашнурованных платьях, с зонтиками от солнца и собачками на поводках, джентльмены в котелках и с золотыми часовыми цепочками, свисавшими из жилетных карманов; усталые гувернантки тянули на буксире своих отчаянно упиравшихся подопечных. Кто угодно из этих людей мог быть знаком с моей мамой. Несмотря на близость к Берлину, Шёнеберг оставался гарнизонным городком, где кайзер размещал войска. Все друг друга знали. Я опустила глаза и, прикрываясь полями шляпки, думала лишь о том, чтобы пройти не узнанной в школьной форме. К моему облегчению, никто не обращал на нас особого внимания, мужчины приподнимали головные уборы, а женщины негромко произносили свои дежурные *guten Tag*¹⁹.

– Давай выпьем кофе, – предложила мадемуазель, остановившись у кафе на углу, и села за уличный столик с мраморной столешницей.

Я устроилась напротив – и тут заметила, что при дневном свете она еще симпатичнее, чем в классе: в глазах орехового цвета виднелись зеленые крапинки, а губы были такие же розовые, как лента на шляпке. К шее прилипли несколько выбившихся из узла тонких локонов. Мне пришлось вцепиться руками в коленки, чтобы подавить в себе желание дотянуться и отлепить их от ее кожи.

Мадемуазель Бреган сделала заказ, и официант нахмурился:

– Кофе для девочки?

– Какая я глупая! – рассмеялась она. – Марлен, ты будешь шоколад или лимонад?

– Нет, благодарю вас. – Я выпрямила спину. – Кофе подойдет.

Я никогда еще не пробовала кофе. Мама пила чай. Настоящие леди пили только чай. Несмотря на популярность, кофе, по словам мамы, был иностранной причудой и от него кисло во рту.

Пока мы ждали свой заказ, мадемуазель вздохнула, сняла канотье и провела рукой по волосам, отчего еще несколько прядей высвободились из узла и теперь обрамляли ее лицо.

Без всякой подготовки она произнесла:

– Ну расскажи мне, что тебя тревожит.

– Тревожит? – перепугалась я. – Меня? Ничего, мадемуазель.

Кроме одного: я сидела с ней в кафе на бульваре и боялась, что кто-нибудь из маминых знакомых может нас увидеть.

– Ну нет, – погрозила она пальчиком. – У меня достаточно опыта, чтобы определить, когда ученик пытается что-то скрыть.

– Опыта?

– Да.

¹⁸ Ничего (*фр.*).

¹⁹ Добрый день (*нем.*).

Официант поставил перед нами две чашки с какой-то черной жидкостью и налил для мадемуазель Бреган сливок из кувшинчика. Моя спутница кивнула ему и протянула кувшинчик мне:

– Со сливками не так горько. И добавь сахара. – Когда я это сделала, она продолжила: – Прежде чем прийти работать сюда, я была гувернанткой в большом доме. У меня было три воспитанницы, и я вижу, когда девочке страшно рассказать, что у нее на уме.

На миг меня парализовало, я подумала: она видит меня насквозь, марципановые подарки и погоня за ее вниманием выдают меня. Но потом поняла, что мадемуазель Бреган не выглядит ни сердитой, ни расстроенной.

Взирая на меня со спокойной искренностью, она проговорила:

– Обещаю, что бы ты мне ни рассказала, это останется между нами.

– Как... секрет? – спросила я и отхлебнула кофе; вкус у него был как у расплавленного сладкого бархата.

– Если хочешь. *Un secret entre nous*²⁰.

Мой французский, может, и был хорош, но не настолько, чтобы описать всплеск эмоций. Я не хотела использовать в своих целях ее удивительную вольность в общении, меня восхищал сам факт этой вольности. До сих пор никто не интересовался моими чувствами и еще меньше – сокровенными мыслями. Вдруг у меня в ушах раздался шипящий шепот, будто мать сидела совсем рядом. *Мы не проявляем эмоций на публике.* Я оторвала взгляд от лица мадемуазель Бреган и пробормотала:

– На самом деле ничего особенного.

Ее рука накрыла мою. Она была такой нежной, что ощущение тепла распространилось по всему моему телу, до пальцев ног.

– Прошу тебя. Я хочу помочь, если смогу.

Неужели я настолько неумело скрывала свои чувства? Или причина в том, что до сих пор никто не соизволил посмотреть на меня как на существо, переживания которого достойны внимания?

– Дело в... моей матери. Она собирается снова выйти замуж.

– И это все? Но у меня сложилось впечатление, что тут должно быть что-нибудь еще.

– Что, например?

Мне было боязно узнать, о чем она догадалась, и я приготовилась услышать, что моя привязанность хотя и льстит ей, но едва ли уместна в отношениях между учеником и учителем.

Вместо этого мадемуазель Бреган сказала:

– Я думала, тут замешан мальчик, который тебе нравится, или, возможно, какие-то женские проблемы.

Эвфемизм был мне понятен, и я покачала головой. Первая менструация случилась у меня три месяца назад.

– Значит, тебя тревожит только замужество матери? Но почему? Тебе не нравится ее поклонник?

– Я его не знаю. Отец умер, когда мне было шесть лет. До сих пор о свадьбе знали только мама, моя сестра и я...

Не успев ничего понять, я выложила ей все о герре фон Лоше и ужасавшем меня переезде в Дессау, о моем таланте к игре на скрипке и маминых амбициозных мечтах видеть меня студенткой консерватории. Я совладала со своим порывом только тогда, когда уже готова была признаться, что сама мадемуазель Бреган тоже представляет для меня проблему,

²⁰ Секрет между нами (*фр.*).

потому что нет слов, чтобы объяснить, какие чувства она во мне вызывает, но что я не хочу уезжать никуда, где буду находиться вдали от нее.

Она между тем маленькими глотками пила кофе и после продолжительной паузы сказала:

– Я понимаю, как могут страшить тебя предстоящие изменения. Mon Dieu, как я это понимаю! Но мне не кажется, что у тебя есть серьезные причины для беспокойства. Твоя мама, похоже, порядочная женщина, и она нашла мужа, который будет о ней заботиться. Ты ведь хочешь, чтобы она была счастлива? А Дессау вовсе не так далеко. Я уверена, там тоже есть школы, с другими детьми. – Она помедлила. – Ты здесь ни с кем не подружилась. Эта темноволосая девочка, что сидит рядом с тобой, – Хильда, все время пытается привлечь твое внимание, но ты ведешь себя так, будто она невидимка.

Правда? Я ничего не замечала. Но я в то время вообще ни на что не реагировала в школе, кроме мадемуазель.

– Эта девочка очень похожа на тебя, – продолжила учительница, – такая милая и сообразительная. А что? Ты могла бы иметь сотню друзей, если бы захотела. Но ты ведь никогда даже не пыталась?

Разговор принял неудобный поворот. Я не хотела обсуждать отсутствие у меня друзей, я хотела...

Мадемуазель Бреган указала на мою чашку:

– Пей, а то остынет.

Пока я заглатывала еле теплый кофе, она смотрела на меня с такой искренностью и пронизательностью, что это приводило меня в замешательство и заставляло предполагать в ней способности читать мои самые потаенные мысли.

– Ты когда-нибудь была в cinématographe?²¹

– Где?

Ее вопрос меня озадачил, я представления не имела, о чем она говорит.

– Движущиеся картинки. Фильм.

Термин был мне известен, но никаких фильмов я ни разу не видела. Мама этого не одобряла.

– Ты не была. Великолепно! Тут неподалеку есть один. Не такой большой, как в Берлине, но и не настолько дорогой. Он находится в зале кабаре, и там в будни по вечерам показывают фильмы. Хочешь пойти? Я обожаю кино. Полагаю, это развлечение новой эпохи, в сравнении с которым театр вскоре будет казаться устаревшим. Картина «Der Untergang der „Titanic“»²². Ты знаешь, о чем это?

Я кивнула:

– «Титаник» затонул после столкновения с айсбергом.

Это я помнила, потому что два года назад, когда произошла трагедия, каждый мальчишка-газетчик дни напролет выкрикивал похожий заголовок.

– Именно так, – сказала она. – Многие погибли. Это должен быть очень интересный фильм. Его выпустила компания «Континентал-Кунстфильм» в Берлине. Там строят для съемок целые студии. – Мадемуазель Бреган сделала знак официанту принести счет и добавила: – Если поторопимся, то успеем на первый сеанс.

Я знала, что нужно отказаться, поблагодарить за кофе и советы и вернуться домой, пока не поздно. Лизель будет беспокоиться, расскажет маме, что я задержалась, и...

Мадемуазель положила на блюдечко монеты вместе с чеком и встала, протягивая мне руку:

²¹ Кинематограф (фр.).

²² «Гибель „Титаника“» (нем.).

– Быстро, Марлен. Нам надо поспешить на Stadtbahn!²³

Как я могла устоять? Схватив учительницу за руку, я позволила сбить себя с пути.

Я плакала.

Не могла сдержаться. Печаль, смешанная с изумлением, обострила мою чувствительность, и предел был перейден, как только на провисающей простыне, прикрепленной к стене в качестве экрана, ожили зернистые образы: затерянный в океане титан, застывшие на палубе в ожидании своей участи мужчины, теснящиеся в спасательных шлюпках женщины – свидетели катастрофы. В один момент я даже схватила мадемуазель за коленку – настолько меня ошеломило зрелище. Я забыла, что, хотя мы и находимся в темном зале, пропахшем пивом и сигаретным дымом, вокруг нас сидят люди. Их приглушенные возгласы и отпускаемые шепотом замечания усиливали впечатление от немого изображения.

После фильма я впала в оцепенение.

– Разве это не было величественно? – обратилась ко мне мадемуазель, ее лицо светилось. – Я хочу когда-нибудь оказаться там.

– На «Титанике»? – выдавила я из себя, стараясь отделаться от ощущения, что меня забросили в открытое море и заставили следить за тем, как мои любимые люди тонут в черной холодной воде.

– Нет, глупышка. Там. На экране. Я хочу быть актрисой, вот почему покинула Париж и приехала сюда. Я буду работать учительницей, пока не накоплю достаточно денег, чтобы снять угол в Берлине. В наши дни жить там ужасно дорого – это самый деловой город в мире, и мне нужны дополнительные средства, чтобы платить за комнату и уроки актерского мастерства.

Пока мы ждали трамвай, она снова взяла меня за руку и сказала:

– Теперь нам обоим известны секреты, которые нужно сохранить. Я только что открыла тебе свой.

Мне страшно хотелось спросить, есть ли у нее кто-нибудь, кого она любит или по кому скучает, кого оставила во Франции в погоне за своей мечтой. Но я не могла развязать язык и сплести нужную фразу, к тому же очень скоро мы снова оказались на бульваре, где новое электрическое освещение бросало сероватый отблеск на праздные толпы в пивных и кафе.

Мы быстро шли к закрытой школе.

– Я живу там. – Мадемуазель Бреган махнула рукой в сторону боковой улочки, которая вилась вдоль обветшалых домов. – Но могу проводить тебя и объяснить маме, почему ты задержалась... – Озорная улыбка тронула ее губы. – Нам придется сказать, что ты не успела вовремя выполнить задание. А это может означать, что твоя мама будет недовольна.

«Недовольство, – подумала я, – это самое меньшее, чего можно ожидать».

– Спасибо, не надо. Она сегодня работает допоздна. Ее, скорее всего, сейчас нет.

Хотя казалось, что прошла целая вечность, фильм длился всего сорок минут. Я получу выговор от Лизель, тут сомневаться не приходится, но мамы дома не будет как минимум до девяти.

– Ах да, я забыла, она ведь в Дессау. Ну, тогда ладно. Если ты уверена, что дойдешь спокойно.

– Да, уверена.

Я начала делать реверанс, но мадемуазель Бреган обняла меня. От нее пахло потом с легким оттенком лавандовой воды и кофе, и еще ее одежда пропиталась едким запахом кабаре. Я растаяла в ее объятиях.

– Merci, Mademoiselle.

²³ Городская железная дорога (нем.).

– Mais non, ma fille²⁴. – Она взяла меня за подбородок и, расцеловав в обе щеки, сказала: – Зови меня Маргарита, когда мы будем одни. Женщины, у которых есть секреты, должны подружиться, oui?

Повернувшись, она ушла. Тени от постепенно смыкающихся зданий погружали во мрак ее путь. Почти уже скрытая тьмой, мадемуазель Бреган оглянулась и помахала мне:

– À bientôt, mon amie Marlene!²⁵

Я не хотела, чтобы она уходила. Может, я больше никогда не буду умываться, чтобы не смывать ее запах со своих рук. Идя домой, я все время подносила ладони к лицу, чтобы вдыхать его, хотя к вечеру сильно похолодало.

Июльское тепло покинуло нас.

Я больше никогда не увижу Маргариту Бреган.

²⁴ – Спасибо, мадемуазель.– Не за что, девочка моя (фр.).

²⁵ До свидания, друг мой Марлен! (фр.)

Глава 4



– Она ушла, – сказала Хильда. – Почему – я не знаю.

Мы беседовали во дворе, после того как фрау Беккер сообщила, что уроков французского не будет ни сегодня, ни в обозримом будущем.

Встревоженная необъяснимым отсутствием мадемуазель, я подошла к Хильде, худенькой темноволосой девочке, которая сказала мне «Parfait», в смысле «превосходно», и жаждала встретиться со мной взглядом. Она ухватилась за возможность побыть моей наперсницей, однако, к сожалению, ничего, что могло бы пролить свет на это загадочное изменение хода событий, сообщить не могла.

Мы сидели рядом, а девочки, довольные, что образовался внезапный перерыв в занятиях, прыгали через веревочку. Я нащупала в кармане последний марципан, вытащила его и протянула Хильде:

– Вот, возьми.

– О! – обрадовалась она и приняла его, как будто это была жемчужина. – Спасибо, Мария.

– Марлен, – поправила я, расчищая в памяти место для мадемуазель. – Меня зовут Марлен.

– Правда? А я думала, ты Мария... – пожала она плечами, жуя марципан. – Марлен – такое странное имя, но и приятное тоже.

– Ты на самом деле ничего не слышала? – снова спросила я. – Как она могла вот так просто взять и уйти? Она же замещала мадам. Несколько недель ушло на то, чтобы найти ее, и пробыла она здесь не дольше.

Хильда помолчала, обдумывая мои слова.

– Может, это как-то связано с войной?

– С войной? – уставилась я на нее в недоумении. – Но тут нет войны.

– Пока нет, – сказала Хильда и засверкала глазами, как человек, обладающий какими-то важными сведениями, в отличие от ее новой подруги. – Но ходили слухи, что кайзер объявляет войну против... – Она сдвинула брови. – Ну, я точно не знаю, против кого, но мой отец служит в пехоте, и на прошлой неделе он написал матери, что его полк мобилизован и война неизбежна.

– А я ничего об этом не слышала, – твердо заявила я, хотя особой уверенности не ощущала.

Да и откуда мне было знать? Если бы война уже разразилась и бушевала на каждой улице за пределами нашей квартиры, моя мать оставалась бы невозмутимо спокойной и глухой ко всему, пока вражеские солдаты не начали бы ломиться в нашу дверь.

Я содрогалась от страха при мысли, что кто-то мог увидеть нас вместе и донести на мадемуазель нашей Schulleiterin, директрисе. Задерживать подопечных после уроков, чтобы

исправить какие-то недочеты, было допустимо, но повести ученицу в кофейню и в кино – такое могло послужить поводом для увольнения. Не стала ли я скрытой причиной загадочного исчезновения мадемуазель Бреган?

Если так, я не могла оставаться здесь.

– Tu etwas, – сказала я и, схватив ранец, вскочила на ноги.

Хильда вылупилась на меня с отвисшей челюстью, к ее подбородку прилипли марципановые крошки.

– Куда ты собралась?

– На улицу.

Я начала пересекать школьный двор, но Хильда дернула меня назад за лямку ранца:

– Марлен, ты не можешь уйти. Последний звонок еще не давали. Ворота заперты.

– Dumme Kühe, – выругалась я. – Глупые коровы. Это школа или тюрьма?

– И то и другое, – сказала Хильда, и я вдруг невольно заулыбалась: несмотря на неприглядную внешность, эта девчушка была довольно остроумна. – Но задние ворота никогда не запирают, – продолжила она. – Пожарный инспектор сказал, что их нужно держать открытыми на случай каких-нибудь чрезвычайных происшествий. А так как все здесь... – Она усмехнулась.

Мы вместе прокрались через почти пустое здание школы к задним воротам. Они выходили на пыльную дорогу вдоль заброшенного поля, еще недавно главной достопримечательности Шёнеберга. Теперь на месте, где выращивали картошку и салат, росли новые дома – дешевые строения, предназначенные для той части населения, которая не вместились в Берлин. Я вспомнила, что говорила мадемуазель о своих устремлениях. Может быть, наше вчерашнее приключение подсказало ей, что надо отбросить осторожность и отправиться в город, названный «самым деловым» в мире?

Дорога вела в боковую улочку, на которой, по словам мадемуазель Бреган, она и жила. Но как только мы ступили на выложенную неровным булыжником мостовую, где развались дремали бездомные собаки, а щедущие дети, сидя на корточках, играли с камушками, сердце у меня упало. Я не видела, чтобы наша беглянка подходила к какому-то конкретному зданию, и понятия не имела, который из этих ветхих домишек, где сдаются внаем меблированные комнаты, – ее.

– Ну что? – спросила Хильда.

Я не могла не восхититься отвагой своей новой приятельницы: она, ни минуты не колеблясь и не испытывая угрызений совести, провела нас к выходу, хотя ей, так же как и мне, грозило суровое наказание.

Раздраженно выдохнув, я ответила:

– Она пошла сюда, но...

До нас долетел отдаленный шум – топот марширующих сапог и крики. Я, замолчав, в изумлении обернулась к Хильде, а она воскликнула:

– Началось!

Хильда побежала по боковой улочке к главной, призывая меня следовать за ней. Я быстро обернулась через плечо в надежде, что внезапная суматоха встревожит местных жителей. Однако только ленивые собаки приподняли уши да под окнами, из которых никто не выглядывал, ветер раскачал на провисших веревках стираное белье.

Отдуваясь, я остановилась рядом с Хильдой. Тротуар перед нами заполнили пешеходы, а по центру улицы, размахивая флагами и знаменами с изображением кайзеровского черного орла, валила толпа. Большинство демонстрантов были молодыми, в рубашках с закатанными до локтя рукавами, – рабочие и прочий люд с близлежащих фабрик, – обычный сброд, фыркнула бы мама. Они распевали: «Святой огонь, пылай! Гори, не угасай. За родину отцов любой из храбрых с охотою готов рвануться в бой – за трон и рейх!»

– Это же «Heil dir im Siegerkranz»!²⁶ – крикнула мне в ухо Хильда. – Видишь! Мы воюем!

Я не могла в это поверить. Демонстранты шли плотной ордой, а тем временем женщины с зонтиками от солнца и собачками на поводках, важные господа в котелках и гувернантки с разинувшими рты детьми аплодировали и приветственно потрясали в воздухе кулаками, как будто в город приехал цирк.

– Они обезумели? – спросила я, но никто меня не заметил.

Пение стало оглушительным. Оно разносилось эхом по широкой улице и поднималось к взъерошенному облачному небу, так что мы едва расслышали слабый звук школьного звонка.

– Нас сегодня отпускают раньше, – ахнула Хильда. – Побежали!

Она потащила меня сквозь толпу, пихаясь что было силы и расчищая нам дорогу. Таким манером мы добрались до приоткрытых ворот, за которыми теснились школьницы, желавшие посмотреть на шествие: глаза у всех были вытаращены, несоразмерно большие банты покачивались на головах, а учителя пытались не дать воспитанницам вырваться наружу.

Фрау Беккер заметила нас.

– Хильда, Мария! – грозно заревела она. – Немедленно зайдите внутрь!

Мы протолкались за ворота мимо других девочек и заработали каждая по щипку за ухо от учителей.

– Как вы посмели выскользнуть туда? – потребовала ответа фрау Беккер. – О чем вы только думали?

Хильда покосилась на меня. Педагоги полагали, что мы оказались снаружи, когда были открыты ворота, поэтому я быстро ответила:

– Мы только хотели узнать, что случилось. Далеко не уходили.

– Вы зашли слишком даже далеко, – возразила фрау Беккер. – Я вынуждена сообщить обо всем директорисе. Какая дерзость с вашей стороны убежать, когда мир вот-вот взорвется!

– Взорвется?!

Внезапно мнимая война стала пугающе реальной.

– Да. Его императорское величество поклялся отомстить за убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Германия должна защитить свою честь. Но как бы там ни было, война или нет, а ни одной девочке не позволено так нарушать дисциплину.

Фрау Беккер отвела меня и Хильду в кабинет директорисы. Пока нас подвергали суровой словесной выволочке, в результате которой мы получили неделю дополнительных уроков и лишились свободного времени во дворе, – прямо за воротами школы весь наш народ с головой погружался в катастрофу.

²⁶ Императорский гимн в Германской империи с 1871 по 1918 г.

Глава 5



«Должна ли я?»

Мои пальцы замерли. Я посмотрела вниз, где у ног стояла корзина с пряжей от распущенных старых свитеров, которую я должна была превращать в перчатки, шарфы, шапки, и меня охватило отчаяние, а вечно голодный желудок тоскливо сжался.

– Ты что же, хочешь, чтобы наши храбрые мужчины страдали от обморожений, потому что ты устала? – сказала мама. – Мы должны это делать – это наша жертва в ответ на их жертвы. Перестань киснуть и закончи шарф. Я передам его на фронт с медсестрами запаса.

Я едва сдержалась, чтобы не глянуть на Лизель, выкатив глаза. Она тоже сидела за шитьем в похожей на пещеру гостиной резиденции фон Лошей в Дессау, куда мы переехали после того, как кайзер объявил войну.

К моему облегчению, с полковником мы контактировали крайне мало – вскоре ему пришлось отбыть по долгу службы, а за время недолгого общения я нашла его человеком чопорным и без чувства юмора. Обращаясь к матери, он неизменно называл ее «фрау», а нас с Лизель едва замечал, как будто мы были всего лишь еще парой чемоданов, которые его жена привезла с собой. В те первые несколько недель мы старались не попадаться ему на глаза и не нарушать строгого обеденного церемониала, который требовал от нас сидеть за столом и говорить как можно меньше, пока фон Лош с важным видом разглагольствовал о прусской чести и необходимости защищать ее. Мама продолжала вести себя так, будто она все еще его служанка, а не женщина, с которой он собирался вступить в брак. Меня это удивило, но, когда полковник уехал, они так и не были женаты. Про себя я пыталась отгадать, почему мама настояла на нашем переезде сюда, но спрашивать не решалась. Как могла Йозефина Фельзинг жить без церковного благословения под одним кровом с мужчиной? Но ведь на самом деле она с ним и не жила. Он уехал биться за империю, и внешне все выглядело так, будто она по-прежнему его домоправительница, только теперь следит за именем в Дессау. Должно быть, причиной были деньги, хотя мать скорее умерла бы, чем признала это. Мы не могли позволить себе снимать жилье, если бы она не работала, поэтому вынуждены были отправиться туда, куда нам приказал герр фон Лош. Мне это не нравилось. Унылое рабочее поведение матери смущало меня, как будто я случайно застала ее за спешной и тайной починкой нижнего белья. Теперь я начала понимать, что имела в виду Лизель, когда говорила о женском одиночестве: несмотря на то что мать перевозила имя нашей семьи, заслуженно и уместно, мы вовсе не были привилегированными, а, похоже, зависели от капризов ее работодателя.

Сказать по правде, маме особенно нечем было управлять в Дессау. Кроме сварливого повара-католика, имение обслуживали беспокойная горничная, жившая в ежедневном страхе материнских инспекций, да хромой кучер, который, насколько я могла судить, ничего

полезного не делал, потому что конюшни были пусты. Всех лошадей реквизируют для военных нужд и, если верить слухам, сейчас забивали, чтобы варить из них похлебку.

Тут было уныло и скучно. Я тосковала по Шёнебергу, даже по школе, потому что здесь мы жили, как заключенные: наши руки были стянуты траурными повязками; мы вязали, шили, собирали посылки с продуктами и всем необходимым, хотя у нас самих рацион сузился до чрезвычайности. Мясо, молоко и муку достать стало невозможно, поэтому хлеб состоял в основном из опилок, а меню по большей части содержало блюда из репы. Поступив в приходскую академию Дессау, я получила возможность каждый день отлучаться из дому. Но в перерывах между обязательными учебными занятиями мы выполняли примерно те же задания, что и в семейной обстановке. Поддерживали усилия военных своим потом и кровью на исколотых иглами пальцах, а кроме того – еженедельными визитами в Ратушу, где хором пели патриотические песни, пока мэр зачитывал имена из бесконечных списков павших.

– Мама, когда приедут дядя Вилли и Ома? – осмелилась спросить я по прошествии еще получаса, когда клацанье вязальных спиц начало действовать на нервы. – Ты разве не говорила, что они скоро заедут к нам?

В те дни единственной отрадой в монотонном существовании для меня были родственники. Младший брат матери Макс погиб в бою, и после трагедии мы много дней читали молитвы, хотя я едва знала этого Макса. Более будоражащей стала новость о том, что член семьи со стороны отца совершил отважный полет над Лондоном на дирижабле и удостоился упоминания об этом в газетах. Дядя Вилли избежал призыва, потому что кайзер реквизировал часовую фабрику Фельзингов как предприятие, выпускающее продукцию военного назначения, а дядя ею управлял. Для того чтобы заработать денег, Вилли сдал в аренду верхний этаж главного здания компании человеку, который изобрел революционно новое оптическое приспособление для показа кинофильмов: кайзер приказал ему задокументировать войну. Я с нетерпением ждала и новостей о рискованных начинаниях дяди Вилли, и его редких визитов, а приезжал он вместе с бабушкой, проживавшей с ним в нашем фамильном особняке в Берлине. Несмотря на все бедствия, появляясь у нас, они привозили с собой осязаемый дух утонченности: дядя источал аромат русских сигарет – роскошь, расстаться с которой он отказался, – а бабушка была, как всегда, безупречна в своих соболях и жемчугах. Я не переставала изумляться: ведь мать могла попросить их о помощи и мы могли бы переехать к ним в Берлин, а не прозябать в доме какого-то чужого человека.

– Путешествовать сейчас трудно. Вы останетесь с ними, когда я уеду на фронт, – ответила мать и глянула строго, что упредило мое радостное восклицание.

– Мы... мы останемся с ними в Берлине? – переспросила я, стараясь подавить восторг.

– Разумеется, – сдержанно ответила мать.

Может, я и не осмеливалась задавать вопросы, но она знала, что я заглядываю гораздо дальше и вижу больше того, что она хотела бы мне позволить.

– Я ведь не могу оставить вас здесь одних. Ну что там? – сказала она, повышая голос, чтобы предвосхитить вопрос, когда мы поедем. – Ты закончила свою работу? Нет, я вижу, что не закончила. Лена, слабость недопустима, она плохо отражается на всех нас. Идет война. Ну-ка, tu etwas.

Сжав зубы, я снова взялась за вязание. Я не могла дождаться, когда мать отправится на фронт, где бы он ни находился, если только это могло спасти меня от очередного напоминания о войне, которая шла уже четыре года, поглощая все, что было доступно. Но я знала о войне крайне мало, за исключением того факта, что, пока тысячи людей гибли, разорванные снарядами артиллерии или удушенные газом в траншеях, мама продолжала считать, что поставка на фронт коробок с перчатками может каким-то образом приблизить развязку.

Перчатки! Слово кайзера мог свалить их на грузовик и предложить нашим врагам как миротворческое средство.

В животе у меня урчало. Я была постоянно голодна, ужасно устала и больше не понимала, что должна чувствовать. Мне следовало умирать от горя – казалось, так нужно, – потому что потери были неизмеримы. Список погибших удлинялся каждый день. Столько молодых мужчин, похожих на тех, которых я видела марширующими по главной улице Шёнеберга, приняли ужасную смерть. Чтобы усилить ощущение тяжести, мама вышила стихотворение Фрейлиграта и поставила в рамке на каминную полку как наказ.

Люби, пока дано любить!
Люби, коль можешь удержать!
Настанет час, настанет час,
Раздастся над могилой плач.

Выполняя разную домашнюю работу, она тихо бормотала эти строки себе под нос, как литанию, когда человек перебирает бусины четок, – за этим занятием я регулярно заставляла нашего повара, проникая на кухню в поисках съестного. Если бы я не знала мать так хорошо, то могла бы решить, что она наслаждается тем, что мир перевернулся, все обратилось против нас и Германия поставлена на колени.

Я должна была чаять нашей победы столь же решительно и непреклонно, как она. Должна была гордиться нашей жертвенностью и чертовой защитой нашей треклятой чести. Но я могла думать только о мадемуазель – размышляла, куда она уехала. Наверное, вернулась во Францию. Теперь не время мечтать об актерской карьере.

С наступлением сумерек мы вынужденно прерывали работу. Масла для лампы было в обрез, и нам приходилось освещать свой скудный ужин с помощью вонючего свиного жира, а потом, едва волоча ноги, мы разбредались по постелям – нашим единственным убежищам долгой зимней ночью.

Лизель спала как бревно. Ее стойкость изумляла меня. Семнадцатилетняя девушка, которая была настолько слаба здоровьем, что не могла посещать школу, часами сидела не моргая и орудовала иглой, как будто от этого зависела ее жизнь. Она навязала в два раза больше перчаток и шапок, чем я, и ни словом не пожаловалась.

А я слишком устала, чтобы заснуть, и, закрыв глаза, пыталась вспомнить тот волшебный вечер, когда вместе с мадемуазель смотрела другую трагедию, разворачивавшуюся на экране. Мне отчаянно хотелось вызвать в памяти запах мадемуазель на своих ладонях, увидеть ее улыбку, услышать смех и доверительные признания.

Женщины, у которых есть секреты, должны подружиться, oui?

Но мадемуазель превратилась в бледную тень, осталась лишь в воспоминаниях – неподвижная, с оттенком сепии. Безжизненная, как янтарь.

Я потеряла ее.

Мне остались только бесконечная нудная работа и ежедневный страх, да еще слабая надежда, что как-нибудь, когда-нибудь война наконец закончится и жизнь завертится вновь.

Мама уехала на фронт в начале 1918-го, после того как пришло срочное известие, что полковник фон Лош ранен. Как и было обещано, меня и Лизель она отправила в Берлин.

Наконец-то я вернулась в город, который любила, хотя и знакомилась с ним только во время кратких приездов сюда с мамой. Куда ни кинь взгляд, везде был мрак и запустение. На улицах никого, кроме стариков и одетых в черное вдов, которые, кутаясь в клетчатые платки, рылись в мусорных кучах или ловили бездомных кошек.

Ома была изолирована от страданий. Дядя Вилли продолжал получать изрядные барыши от своей фабрики, выпускающей продукцию военного назначения. Жалованье ему платил сам кайзер, и роскошный особняк Фельзингов с его канделябрами и бархатными портьерами был ровно таким же, каким я его помнила с детства, – пантеоном нашей семейной предприимчивости.

– Когда ты успела стать такой красавицей? – поинтересовалась бабушка, глядя на меня сквозь очки. – Ты не похожа ни на кого из нашей семьи, mein Liber²⁷.

– Похожа – на маму, – возразила я.

Мы беседовали на верхнем этаже, у бабушки в будуаре. Она продолжала использовать слово «будуар» и пересыпать свою речь французскими фразами, хотя нам было положено презирать Францию и все прочие страны, которые не были с нами в союзе.

– У меня ее глаза и волосы, – добавила я.

– Не ее глаза, – широко улыбнулась Ома, и браслеты звякнули на костистых запястьях. – У тебя вообще не наши глаза. Твои раскрыты шире, и веки более тяжелые. Нет, хотя мне неприятно это говорить, но это глаза твоего отца. И лоб тоже его. Он был красавцем, твой отец. Ты, наверное, не помнишь его, а он был довольно привлекателен, в такой грубоватой манере. Но Dietrich... – Она надула впалые щеки и выпустила воздух. – Говорящая фамилия. Отмычка. Такой он и был: войдет в любой замок, но ни одну дверь не откроет. Йозефине он был не пара. Мы пытались убедить ее, но подачки и советы – это две вещи, которые она никогда не принимала.

Я избегала разговоров об отце. Он был настоящим призраком, иконой, которую мать водрузила на незыблемый пьедестал. Его фотография в позолоченной раме – дань уважения в стиле рококо – висела у нас в доме на видном месте, однако для меня это был лишь цветущий, но совсем незнакомый мужчина. Уж лучше исследовать бабушкину комнату, где в беспорядке расставлены флакончики духов, эмалевые безделушки и поддельные яйца Фаберже. В углу стояло высокое зеркало, в полный рост, и на нем гирляндами висели шарфы и шляпы. Мы в те дни нечасто смотрелись в зеркала: в Дессау все они были повернуты к стенам – так мама чтит память павших.

Но теперь я увидела свое отражение: худенькая, платье бесформенным мешком болтается на усохшем теле, кажется, непривычно высокая и...

Подошла поближе.

Была ли я красива? На бледное лицо наложили отпечаток лишения военного времени: щеки осунулись, губы потрескались. С начала войны я не носила волосы распущенными днем – еще один знак уважения, на котором настояла мама, – а по вечерам я часто бывала слишком утомлена, чтобы расчесываться. Но сейчас я подняла руки и расплела косы: волосы повисли, гладкие и жидкие. Они настоятельно требовали помывки, а их рыжеватый оттенок стал более заметным, чем в детстве.

– Ты правда думаешь, что я?.. – спросила я у бабушки, встретившись с ней взглядом в зеркале.

Когда-то она была красавицей. Все так говорили. Это подтверждали и висевшие на лестничной площадке портреты. Одна из самых блистательных женщин в Берлине. Следы былой красоты сохранились под похожей по фактуре на креп кожей, в блеске сливового цвета глаз и безупречной прическе, теперь подернутой серебром. В детстве для меня Ома была самым возвышенным из всех известных мне созданий, воплощением элегантности – в своих пальто с аппликациями, парижских платьях, венских шляпах с перьями и сшитых по мерке итальянских перчатках, которые застегивались на перламутровые пуговицы, – и все ее вещи пропитывал запах сирени.

²⁷ Моя дорогая (нем.).

– Да, ты красивая юная девушка, – сказала она. – Подними-ка юбку.

Ее просьба казалась странной, но мы были одни. Почему бы нет? Она рассматривала меня с явным одобрением, взгляд ее блуждал за стеклами очков.

– У тебя мои ноги. – Она хмыкнула. – Точнее, мои ноги, когда я была в твоём возрасте. Такие ноги, как у нас, могут сделать состояние, Libchen²⁸.

– Но, Ома, ты никогда не показывала свои ноги!

– Показывала, но только там, где их никто не мог видеть, кроме моего поклонника! – ответила она. – Думаю, пришло твое время узнать, как ты могла бы выглядеть, если бы Йозефина, да будет благословенно ее сердце, не была так озабочена приличиями и этой нудной войной.

Лизель задремала. Как только мы прибыли в дом бабушки, она буквально свалилась с ног, выдавая тот факт, что демонстрировала стойкость лишь ради матери. Конечно, никому не повредит слегка расслабиться.

– Иди в мой кабинет! – Бабушка жестом указала мне на застланную ковром гардеробную, отделенную от спальни.

Здесь она переодевалась. На вешалках висели шелковые, атласные, шерстяные, льняные и парчовые платья. Комоды были набиты бельем с брюссельскими кружевами: сорочками, нижними юбками, корсетами, а также чулками. Я замерла в нерешительности.

– Давай, – подбодрила меня Ома. – Выбери что-нибудь. Ты права, в тебе течет кровь Фельзингов. Ты почти такая же и ростом, и по весу, какой я была в шестнадцать лет.

– По весу не такая же, я сильно похудела.

– Как раз в меру, – фыркнула бабушка, – помнится, ты была немного толстовата. Все эти пирожные со сливками, кондитерские излишества. Ничего, новая диета из опилок и репы поможет нашим раздобревшим матронам прийти в норму. Посмотри на меня. Хотя мне почти шестьдесят три, я не набрала ни унции.

– Но не потому, что сидишь на одной репе, – засмеялась я и выбрала наряд.

Это было вечернее серое шифоновое платье с подкладкой из плотного синего шелка и корсажем. Плиссированные рукава-крылышки прикрывали лишь верхнюю часть плеч, юбка была расшита бисером. Я осторожно взяла его и повернулась к бабушке.

– Ах, мой Уорт²⁹, – вздохнула она, – собственными руками подгонял его для меня в своем ателье. Такой перфекционист! Проверял каждую деталь сам – ну и включил это в счет, конечно. Примерь его.

Я встала к ней спиной.

– Что за ханжество?! – раздраженно сказала Ома. – Ты в моем доме или у Йозефины? Здесь нечего стесняться. Твое тело – это дар от Бога, и ничего постыдного в нем нет.

Привыкнув раздеваться в присутствии сестры, я решила, что и сейчас все будет так же. Расстегнула заношенное платье, и оно сползло по ногам на пол.

– Что ты носишь?.. – Может, Ома и не могла обойтись без очков, но ужас в ее голосе слышался неподдельный. – Что это за... жуть такая?

Я посмотрела на свое вязаное белье и пожала плечами:

– Панталоны.

Ому передернуло.

– Нет, нет! Ты не можешь надеть свое первое платье от Уорта поверх этих отвратительных подштанников. Это разрушит все линии. Возьми сорочку и корсет из ящика, и еще чулки.

²⁸ Дорогуша (нем.).

²⁹ Уорт Чарльз Фредерик (1825–1895) – французский модельер английского происхождения, один из первых представителей высокой моды.

Когда мне удалось правильно надеть корсет, пришлось вернуться к диванчику Омы и стоять смиренно, пока она меня затягивала. Было так тесно, что я едва могла дышать.

– Я не уверена...

– Если ты чувствуешь, что вот-вот упадешь в обморок, – это отлично, – оборвала меня бабушка. – Неси платье.

Проходя мимо зеркала, я мельком увидела себя – стройная, кожа под тонкой сорочкой меловая, атласный корсет с узором из розовых бутонов приподнял мои груди так, что соски выпятились; ноги напоминали колонны в чехлах из шелковых чулок, перехваченных на середине бедер синими подвязками. Образ был настолько поразительным, настолько непохожим ни на что прежде мной виденное, что я остановилась.

– Поняла? – сказала Ома. – Вот оно. Самолюбование, *mein Lieber*. Будь с этим поосторожнее, а то можно соблазниться собственным отражением.

Я торопливо пошла за платьем. Ома стояла пошатываясь.

«Ноги у нее слабые от замедленного кровообращения и от долгих лет, проведенных в корсете», – подумала я.

Она застегнула крючки, заправила по бокам сорочку и при этом заметила:

– Тут слишком велико, а тут чересчур свободно. Марлен, у тебя длинные ноги и короткая талия. Помни об этом, когда будешь ходить на примерку.

Ома взяла меня унизанными кольцами руками за голые плечи, прикрытые складчатыми рукавчиками в форме чаш, и повернула к зеркалу.

– *Voilà!*³⁰ Наконец-то ты – Фельзинг.

Невозможно было поверить, что это я. Я больше не казалась изможденной, но стала совершенно иной – соблазнительной и взрослой. Элегантной.

Опасной.

Бабушка, должно быть, почувствовала, как я инстинктивно сжалась, потому что погладила меня по плечам:

– Нечего бояться. Красота быстротечна. Мы должны наслаждаться тем, что имеем, пока время не отняло это у нас. Я сказала тебе, что ты красива. Теперь ты можешь сама в этом убедиться.

У меня защипало глаза от слез.

– Я... я ее не знаю.

– Да нет же, знаешь. Она – это ты. Только приедет, – улыбнулась бабушка, показав желтоватые зубы, она ведь была настоящей леди и пила только чай. – Когда умру, оставлю тебе весь свой гардероб. Ты сможешь использовать его по своему усмотрению, перекроить все, чтобы соответствовало времени. Я никогда больше ничего из этого не надену. Платье переживает свою хозяйку, оно может перестать нравиться, но никогда это не происходит так быстро, как с нами самими.

– Ома... – Я обняла ее. – *Ich liebe dich*³¹.

Слова просто вылетели из меня, это было спонтанное проявление чувств, вопреки тому, что меня учили избегать открытой демонстрации своих эмоций.

– Я тоже тебя люблю. – Бабушка поцеловала меня и отстранилась. – Сегодня за ужином ты должна быть такой. Мы обе должны. Спустимся вниз, как королевы, и пусть Вилли порадуется. Ему нравится смотреть на хорошо одетых женщин. Уже много месяцев он жалуется, что, с тех пор как началась война, все женщины в Берлине похожи на домохозяйек. – Она ехидно усмехнулась. – А твоя сестра! Только вообрази себе ее реакцию.

Для меня это не составляло труда. И искушение было слишком велико.

³⁰ Вот так! (*фр.*)

³¹ Я люблю тебя (*нем.*).

В тот вечер мы появились за столом при всех регалиях, с прическами, украшенными бриллиантовыми гребешками из бабушкиной шкатулки, с подкрашенными губами и в атласных туфельках на низком каблуке. Мне они сдавили пальцы, как клещи, но я была решительно намерена выдержать это испытание, пусть и пришлось идти семенящей походкой гейши.

Дядя Вилли, щеголеватый, в вечернем костюме, с заостренными воском кончиками усов и неизменной черной сигаретой между пальцев, воскликнул:

– Les dames sont arrivées!³²

Лизель открыла рот, я же, наклонив голову, сказала:

– Merci, monsieur, – и попросила у него сигарету.

Он, посмеиваясь, поднес мне огонь. Я не затягивалась – не знала как, дым был едкий и щекотал ноздри. Подавив приступ кашля, я наслаждалась ощущением выходящего из рта дыма и неспешно шла по гостиной к дивану, на котором неподвижно сидела моя сестра.

– Что... что ты делаешь? – произнесла она так, будто опасалась, не потеряла ли я рассудок.

– Это была идея Омы. А что? Тебе нравится? Разве это не прекрасно?

Я повертелась, чтобы продемонстрировать струящийся шлейф платья, но туфли так впелись в пальцы, что я пошатнулась.

– Это... это аморально, – выдавила Лизель, ее трясло. – Мама на фронте. Герр фон Лош, может быть, в этот момент умирает, а ты – ты играешь в переодевания, как глупая девчонка.

Ома, сидевшая рядом с дядей, вздохнула:

– Ну-ну, Лизель, не нужно так грубить. Мы всего лишь хотели немного оживить тоскливый домашний вечер.

– Оживить? – Лизель сердито встала. – Тоскливый?

Разразившись бурными слезами, она выбежала из гостиной и затопала вверх по лестнице.

Грохот двери в ее комнату потряс весь дом.

– Ну что же, – сказала Ома, изогнув выщипанные брови.

Дядя Вилли сидел с потерянным видом. Не в силах больше ни секунды выносить пытку туфлями, я сняла их и, ковыляя к нему, спросила:

– Что с ней случилось?

Он печально выпятил губы:

– Когда вы были наверху, приходил почтальон. К несчастью, ему открыла Лизель и прочла телеграмму первой. Я не хотел портить нам вечер, видя, как очаровательны вы обе, но при сложившихся обстоятельствах...

– Что? При каких обстоятельствах?

Мне стало дурно. На войне погибали не только мужчины, но и женщины. Сестры милосердия и волонтеры в походных лазаретах – им тоже доставалось от всеобщей дикости.

– Это не твоя мать, – быстро успокоил меня дядя, и я осела от облегчения. – Но, боюсь, доблестный полковник больше никогда не будет с нами.

Он вынул из кармана мятый листок. Я не могла его взять, потому что держала в руках туфли, и это сделала Ома, надевая очки, чтобы прочесть сообщение.

– Похоже, не мы одни в этой семье глупые девчонки, – сказала она, взглянув на меня. – Йозефина вышла замуж за своего полковника на русском фронте, когда над ним уже проводились последние обряды. Моя дочь отправилась на войну вдовой и вернется вдовой – вдовой фон Лош.

³² Дамы прибыли! (фр.)

Глава 6



Мама привезла тело полковника, чтобы похоронить. Кроме того, она потребовала выплаты страховки по случаю смерти кормильца, что позволило нам арендовать квартиру неподалеку от резиденции Фельзингов, и снова устроилась на работу экономкой. Я невольно восхищалась ею с оттенком зависти. Она могла называть ее глупой, но в истории с покойным полковником ее старания не остались напрасными. Она вновь обрела независимость, и теперь мы могли жить в Берлине.

Конец войне наступил в ноябре 1918-го. Точка была поставлена унижительными перемирием и договором, выкованным в Париже союзными силами³³. Кайзер был изгнан, а территория Германии урезана и блокирована. Вспыхнули бунты, люди выходили на улицы, чтобы протестовать против всего: от недостатка продуктов питания до галопирующей инфляции и безработицы. Больше не было ни императора, ни империи, и пока временное правительство силилось утвердить свою власть, Берлин погрузился в полное беззаконие. Дядя Вилли остался без патента и вынужден был обхаживать банкиров, чтобы те давали ему займы для поддержания бизнеса на плаву. А тем временем мародеры били витрины по всей Унтер-ден-Линден и крали выставленные в них товары. Едва успевая, полицейские колотили грабителей и препровождали их в переполненные тюрьмы.

Посоветовавшись с Омой, мама решила, что нам с Лизель нужно завершить образование в Веймаре, где обстановка не была такой хаотичной. Как и следовало ожидать, ни меня, ни сестру ни о чем не спросили. Неожиданностью стало то, что Лизель, узнав, куда нас отправляют, заартачилась.

– Я хочу остаться здесь и получить диплом, чтобы стать школьной учительницей, – объявила она, чем привела меня в изумление. – В консерватории учат только музыке, а я совсем не музыкальна. Деньги будут потрачены зря.

Она рассуждала здраво. В то время как я вернулась в общедоступную школу и стала вновь брать частные уроки игры на скрипке, за которые платила Ома, Лизель сидела дома и училась под руководством гувернантки, тоже нанятой бабушкой. Эта новая наставница, должно быть, и внушила Лизель такое жизненное устремление.

– Школьной учительницей? – переспросила мама. – Но ты же Фельзинг. Разумеется, ты можешь мечтать о большем...

Ома оборвала ее, величественно воздев руку. У меня всегда по телу пробегала дрожь, когда я видела, как мать уступает ей; такое же подчинение ожидалось и от нас.

– Ребенок рассудителен, – сказала Ома. – В сложившейся ситуации преподавание – это очень подходящее занятие. Надеюсь, Йозефина, тебе не нужно напоминать, что твои дочери

³³ Имеются в виду перемирие, заключенное 11 ноября 1918 г., и Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 г.

должны найти средства содержать себя. Мы больше не можем блюсти фамильную честь. Зваться Фельзинг – это теперь так мало значит. Из всей нашей семьи только у Марлен талант к музыке. Мы будем гордиться ею.

Ома верила в мои способности, но я хотела последовать примеру Лизель. У меня уже вошло в привычку после школы нестись домой на урок скрипки, а затем с неизменного позволения бабушки оставаться на ужин. Несмотря на беспорядки на улицах, вечера в особняке Фельзингов всегда проходили весело. Еды и роскоши, может, и недоставало, зато разговоры не иссякали. У дяди Вилли было много друзей, некоторые из них работали в театре и приносили сплетни о закулисных происшествиях или критиковали нашу страну, в которой кусок мяса теперь стоил больше, чем билет на спектакль. Любимой темой была настоящая необходимость отбросить прошлое и вдохнуть новую жизнь в наш обездоленный народ. С замираньем сердца я сидела в гостиной, где собирались драматурги, актеры и актрисы. Разгоряченные дешевым вином, они обсуждали идею, что в разгар катастрофы должно процветать искусство. Я находила все это невероятно захватывающим, хотя большая часть того, о чем они дискутировали, была выше моего понимания. Однако их живой энтузиазм заражал меня. Я чувствовала вызревание чего-то необыкновенного, заставлявшего думать, что и для меня найдется место в Берлине, где я смогу стать частью их смелых прожектов.

Ома сосредоточила пристальный взгляд сквозь очки на мне:

– Ты – это будущее. Ты и другие молодые люди, которые пережили это бедствие. Выживание Германии зависит от вас.

Она ослабела и не могла встать со своего диванчика.

Мне не хотелось разочаровывать ее, и все-таки я спросила:

– Разве мы не можем найти музыкальную академию здесь?

Но мама отрезала:

– Ничто в Берлине не может сравниться с Веймаром. Консерватория прославилась своим подходом к обучению.

После многих недель изматывающих занятий мы с мамой отправились в Веймар на прослушивание, которое могло обеспечить мне стипендию. Я должна была исполнить сонату Баха по выбору комиссии. Отрывок был мне знаком, но я нервничала и потому сыграла хуже, чем рассчитывала. Стипендию мне не дали. Члены комиссии выразили сожаление, что всего на несколько мест так много достойных претендентов, и высказали намерение зачислить меня, если мы внесем плату за обучение. Я могла приступить к занятиям в следующем году, после своего семнадцатого дня рождения.

По пути обратно в Берлин мама вздохнула:

– Как мы осилим такие расходы?

Я была расстроена неудачей, но где-то внутри почувствовала облегчение и сглотнула. Мне не придется покидать Берлин. Правда, начался мой последний год в школе, а мне всю жизнь внушали, что я стану скрипачкой, и представить себе какое-то иное будущее было крайне затруднительно.

– Может, – ответила я, – нам не стоит и пытаться ничего осилить, если я недостаточно хороша.

– Недостаточно хороша? – переспросила мама. – С чего ты взяла? Ты играешь на скрипке всю жизнь, это твой дар от Бога. Они выбрали эту сонату, чтобы испытать тебя. Конечно, ты сделала ошибки, но никто в консерватории не говорил, что у тебя не хватает таланта. Они сказали только, что не имеют возможности финансировать каждого студента. После войны всем не хватает ресурсов. Мы должны найти другой способ.

– Если бы у меня был дар от Бога, разве они сами не нашли бы способ? – заявила я, глядя ей в глаза.

Думала, отругает. Но она посмотрела так, будто выражать сомнения – это грех, караемый отлучением от Церкви, и тихо сказала с пронзившей меня прямоотой:

– В молодости все испытывают сомнения. Зачем идти сложным путем, если есть легкие? Но мы должны оставлять сомнения в стороне, потому как в этом мире ничего не достигнешь без труда. – Она встретила со мной взглядом. – Ты пока даже не представляешь, что бывает в жизни. Но с талантом, в который веришь, можно пережить практически все. Не соверши ошибку, отказавшись от него из-за нежелания прилагать усилия. Чего ты хочешь? Жить жизнью, которую выбрала сама, или той, что жизнь выберет для тебя? Решай.

Вспоминая, как она хотела сдать экзамен и вступить в отношения с полковником, где, без сомнения, не было места любви, я с некоторой долей тревоги поняла, что пыталась сказать моя мать. Она, талантливая пианистка, не воплотила собственные мечты, забыла свой дар ради того, чтобы поступить положенным для женщины ее класса образом: вышла замуж, полагая, что найдет удовлетворение в роли жены и матери. А мой отец умер раньше времени, и это вынудило ее заняться ведением домашнего хозяйства по найму. Она работала, потому что у нее не было выбора – или она его не видела, – и хотела большего для меня. Все это время хотя она и не жила Лизель, но рассчитывала именно на меня – я должна была стать оправданием ее самопожертвования. Вот почему она отказывалась признавать поражение.

До конца поездки я молчала, но все последующие дни не переставала размышлять. Стоит ли мне выбрать путь музыканта? Я играла на скрипке, потому что так хотела мама. Мне это занятие нравилось, да, но настолько ли, чтобы оно стало определяющим в моей жизни? Отсутствие ясного ответа на этот вопрос пугало и лишало покоя. Внезапно я осознала: детство закончилось и передо мной уже вырисовывается необходимость принимать решение о своем будущем, а этого, как мне казалось, я сделать никак не могла.

Незадолго до Рождества решение было принято за меня.

Во сне умерла Ома. Я была убита горем, хотя из-за ее болезни смерть и казалась ожидаемой. Доля бабушки в семейном бизнесе перешла к моей матери – серьезный капитал, если дяде Вилли удастся снова сделать предприятие прибыльным. Отдельную сумму Ома оставила на оплату моего первого года обучения в Веймаре.

Сразу после похорон над Берлином закружил снег. Мама объявила, что я должна почтить волю покойной бабушки.

– У тебя все получится, – заверила она. – Если ты будешь упорно учиться, консерватория подготовит тебя к успешной карьере. Мы все будем гордиться тобой, как говорила Ома.

Я взглянула на дядю Вилли. Он ответил мне какой-то странной, едва ли не вымученной улыбкой.

– Ты сама-то, Лена, хочешь этого? – спросил он, не обращая внимания на мать, которая надула губы, показывая всем своим видом, что мое мнение не имеет значения. – Ты должна больше всего на свете хотеть стать концертирующей скрипачкой.

Я испугалась, что дядя каким-то образом почувствовал мою нерешительность. Ома на самом деле верила в мой талант, и вера матери была непоколебимой, но до сих пор никто не спрашивал меня, разделяю ли я ее. Волну сомнений, поднявшуюся после неудачного прослушивания, я подавила, но притвориться, что ее вовсе не было, не могла. Если мать и научила меня чему-нибудь, так это необходимости быть страстно убежденной в своих силах. Мне хотелось сказать, что у меня эта убежденность есть, даже просто ради матери, но уверенности, что я справлюсь, не было.

– Думаю, могу попытаться, – выдавила я из себя. – Иначе никогда так и не узнаю.

Дядя Вилли кивнул, и, прежде чем он успел спросить что-нибудь еще, мама заявила:

– Не пытайся – делай, Лена. Делай – и у тебя все получится. – Она направилась к двери и позвала: – Пойдем со мной наверх. Нужно перебрать бабушкины вещи, посмотреть, что ты можешь взять с собой.

Ома, как и обещала, оставила мне в наследство свой гардероб. Мама упаковала в чемодан наименее вызывающие наряды (тщательно отобранные и перешитые ею) и сопроводила меня в Веймар, в пансион, где обитали учившиеся в консерватории девушки. Управляла пансионом грозная матрона по имени фрау Арнольди. Это заведение имело богатую историю и солидную репутацию. В XVIII веке здесь проживала муза и объект платонической привязанности Гёте, немецкого героического писателя и государственного деятеля, работы которого заложили основы моего образования в области литературы. Дав наставление вести себя прилично и не забывать мыть за ушами, мама вручила мне конверт с деньгами на личные расходы, которых должно было хватить на месяц.

Как только я отстранилась, поцеловав ее в щеку на прощание, она схватила меня за руку и строго сказала:

– Никаких скандалов. Ты будешь упорно заниматься, заведешь друзей, но чтоб меня не позорить. Фельзинг должна быть безупречна. Понимаешь?

На ее лице изобразились такие сильные эмоции, что я отшатнулась и прошептала:

– Да, мама.

Ее пальцы сильнее сдавили мне руку.

– Ты очень милая девушка. У тебя будет много искушений, – продолжила она. – Юноши могут испортить твою репутацию. Они способны на такие вещи, от которых ты никогда не оправившись.

– Да, – повторила я, испугавшись ее. – Обещаю.

Мать отпустила меня, кивнула, прищурившись, и отправилась на станцию, чтобы поездом вернуться в Берлин.

Впервые в жизни я вдруг оказалась предоставлена самой себе.

Сцена вторая
Уроки игры на скрипке
1919–1921 годы

Я никогда не думаю о будущем.

Глава 1



– Марлен, изобрази девушку из гарема. Это так смешно!

Мы сидели в спальне, которую я делила со своей соседкой Бертой, все в ночных рубашках и с распущенными волосами. Блестящие обертки – доказательство нашего незаконного пиршества – были разбросаны вокруг. В воздухе висел дым; несколько девушек курили, у меня тоже это стало входить в привычку. И сигареты, и сласти были в пансионе под запретом, но я составила план, в соответствии с которым мы откладывали незначительные суммы из того, что нам отпускали на неделю, а когда накопилось достаточно, пешком отправилась в город по магазинам. Я тайком пронесла в пансион коробку пирожных, кисет с табаком и папиросную бумагу, и, как только ушла фрау Арнольди, мы дали себе волю.

Я сняла ночную рубашку – силуэт фигуры был так лучше виден, – встала голая за простыней, которую мы повесили на бельевую веревку перед лампой, и аркой сцепила руки над головой, изображая танцовщицу. Медленно извиваясь, начала издавать губами звуки, похожие на барабанную дробь.

Девушки повизгивали, зажимая ладонями липкие от сладкого рты.

В первый год я училась в Веймаре очень усердно, старалась изо всех сил. Тем не менее, когда дома получили первый отчет о моей успеваемости, где говорилось, что мне не удалось продемонстрировать исключительный талант, в который мама свято верила, она тут же наняла самого лучшего в консерватории преподавателя игры на скрипке, чтобы тот еженедельно давал мне дополнительные уроки. Занятия с профессором Райцем, проходившие по четвергам, были не бесплатными, и я знала, что матери эти траты даются нелегко, а потому полностью погружалась в практику в надежде преуспеть. Но кое-что мне досталось даром. В пансионе я обрела то, чего никогда не знала прежде, – друзей. Большинство девушек, как и я, были из уважаемых семей, их родные многим пожертвовали, чтобы отправить своих чад в консерваторию. Ни у одной из моих приятельниц не было стипендии на обучение, но все надеялись стать музыкантами, по крайней мере утверждали это. Уже на первом курсе некоторые бросили учебу от недостатка усердия или от скуки и вернулись по домам, чтобы выйти замуж за соседских парней. Моя популярность возросла, когда девушки увидели мои платья, жестоко перекраенные матерью, но все же сшитые из прекрасных дорогих тканей, к тому же у меня был врожденный вкус – я знала, что с чем лучше носить. Соседки выпрашивали с возвратом разные вещи, и я не отказывала; всю жизнь мы делили одежду с Лизель, а потому собственничество было мне чуждо. Однажды вечером, когда, кроме чтения стихов или упражнений на инструменте, заняться было нечем, я согласилась поучаствовать в игре на угадывание, состоявшей в том, чтобы изображать разные предметы. Я показала гарем (в ночной рубашке), и девочки объявили, что получилось очень натурально. Вскоре я обнаружила, что нравлюсь им. Они симпатизировали мне не из-за платьев и не из-за того, что

у меня был личный педагог, хотя этому они завидовали. Я нравилась им, потому что они нравились мне.

Толстушка Берта, которая играла на кларнете, заплодировала:

– Еще, еще! Покажи Хенни Портен.

Мы все были без ума от Хенни Портен, главной немецкой киноактрисы. Фильмы с ее участием показывали в местном кинематографе – теперь уже такие заведения появлялись повсюду. С совершенным овалом лица, белой кожей и большими драматическими глазами, Хенни имела внешность обольстительной аристократки и часто играла трагических героинь, обреченных на страдания ради любви. Она вдохновляла нас на то, чтобы укладывать волосы волнами, как у нее, красить губы так, чтобы, когда их надуешь, получалась ее фирменная гримаска, и прижимать руки к груди тем же жестом, каким она выражала мучительные терзания. Мы смотрели каждую картину с Хенни Портен, которую привозили в Веймар. По выходным заполняли кинотеатр, выкладывали на коленки запретные сласти и восхищенно вздыхали, когда она тосковала, изнывала и преследовала на экране своих неверных любовников.

Свернув на голове простыню в виде тюрбана и прикрыв ее концами грудь, я поднесла одну руку к ключице, а другую вытянула вперед и проблеяла:

– Почему ты бросаешь меня, Курт? Разве ты не видишь, что барон заморозил меня?

– «Душа в темнице»! – выкрикнула одна из девушек раньше Берты, которая знала все мои трюки.

Завернувшись в простыню, как в саван, я изобразила на лице выражение покинутости:

– Я должна умереть за свою честь.

– «Анна Болейн», – сказала Берта и ехидно глянула на меня. – Марлен, это было слишком просто. Покажи еще что-нибудь и сделай, чтобы было не так легко отгадать.

Оборачивая простыню вокруг талии, я обдумывала, кого бы из любовников Портен изобразить, и не услышала шагов в коридоре, пока они не раздались у самой двери.

– Hausmutter!³⁴ – прошипела я.

Девушки в панике засуетились и замахали руками, чтобы разогнать дым. Кто-то из них кинулся к шкафу у стены. Мы так увлеклись сладостями, что забыли припереть шкафом входную дверь, как делали обычно.

– Что это здесь за разгул? – пробасила фрау Арнольди.

Хозяйка пансиона была весьма грузной особой, и ее приближение можно было услышать издалека, только на этот раз она, видимо, постаралась и шла по лестнице на цыпочках. Дверь приоткрылась как раз в тот момент, когда девушки сдвинули шкаф с места и заблокировали вход. Сквозь щель виднелись только глаза и кончик носа фрау Арнольди.

– Немедленно уберите мебель! – гневно изрыгала она. – Я вижу вас, Марлен Дитрих, и знаю, чем вы там заняты. Вы позор для моего дома.

Ситуация была настолько абсурдная, что я, замотанная в простыню и бессильная что-либо предпринять, рассмеялась. Берта тоже захохотала.

– А вы, Берта Шиллер! Вам тоже должно быть стыдно! – крикнула хозяйка пансиона и заколотила в дверь. – Впустите меня сейчас же!

Мой смех стих. Девушки выглядели испуганными. Наша домоправительница прославилась тем, что обыскивала комнаты, пока мы были на занятиях, и изымала наши коробки с конфетами, сигареты и все прочее, что считала неподобающим, но она ни разу не заставляла нас на «месте преступления».

³⁴ Хозяйка пансиона (нем.), букв. – мать семейства.

Придерживая простыню на шее, я подняла скинутую ночную рубашку. Девушки отодвинули шкаф, и на пороге появилась фрау Арнольди: ее многочисленные подбородки дрожали, а необъятных размеров грудь вздымалась от возмущения.

Хозяйка пансиона окинула меня взглядом:

– Вот, значит, чем вы отплачиваете за материнские труды и заботу, за частного учителя, которого она наняла для вас, за все ее надежды на ваше будущее! Вы устраиваете представление и шествуете по комнате перед всеми, как... как...

– Хенни Портен, – пробормотала Берта, безуспешно стараясь подавить смех. – Она изображала для нас Хенни Портен.

Взгляд фрау Арнольди пылал гневом.

– Я этого не потерплю! – погрозила она пальцем. – Я напишу вашим матерям. Позвоню им, если понадобится. – Хозяйка пансиона повернулась от Берты ко мне. – Вы считаете себя такой умной, фрейлейн, такой хитрой, но мне-то все известно. И теперь об этом узнает фрау фон Лош. Я слишком долго держала язык за зубами.

Девушки съежились. Берта посмотрела на меня как-то странно. Не обращая внимания на изумленное «а-а-ах» фрау Арнольди, я сбросила с себя простыню и, представ перед всеми голой, как в день своего появления на свет, надела через голову ночную рубашку.

– Не представляю, что вы имеете в виду, – сказала я, застегивая пуговицы у ворота.

– Не представляете? – Тон фрау Арнольди стал злобным.

С момента моего появления в пансионе она испытывала необъяснимую неприязнь ко мне. Однажды я услышала ее замечание, сделанное одной пришедшей в гости матроне, когда пробегала мимо них: «Вот эта. Вы бы видели ее глаза. Такие глаза! Сама Саломея не была столь бесстыдной».

Однако мама оплачивала мои счета. Я жила в пансионе не бесплатно и была студенткой консерватории. Нравилась я хозяйке или нет, не имело никакого значения. До сих пор.

Я заставила себя сохранять спокойствие. По моему опыту, фрау Арнольди любила сыпать пустыми угрозами. Нередко она раздражалась недовольными тирадами, если к завтраку подавали чересчур много масла, – это дорого, не уставала она укорять служанку, и в Германии жиры вообще в дефиците, – но не могла позволить себе браниться слишком долго. Она жила на доходы от своего так называемого дома. Без нас, квартиранток, не было бы ни масла, на которое уходили средства, ни служанки, которая его подавала.

– Если я вас чем-нибудь обидела, вы должны дать мне возможность исправить ошибку, – произнесла я, когда тишина стала слишком напряженной. – Нет нужды вовлекать мою мать в историю, если налицо простое недопонимание...

– Смею заметить, что фрау Райц это так не назвала бы, – фыркнула хозяйка пансиона. Я замерла:

– Фрау Райц? Я с ней ни разу даже не встречалась.

– Хотелось бы ей сказать то же самое о вас и ее муже, – заявила фрау Арнольди с очень самодовольным видом.

Ее прозрачные намеки встревожили меня.

– О чем вы говорите? – потребовала я объяснений.

– Не разыгрывайте передо мной невинность, – засмеялась она. – Эти ваши высокие оценки в последнем табеле! Вы считаете, все преподаватели глупцы? Думаете, в этом городе ни у кого нет глаз? Не я одна видела, как вы выходите из этого дома, одетая в шифон, с задранными досюда подолом и таким количеством помады на губах, что сама Хенни Портен покраснела бы. Я наблюдала сотни таких девушек, как вы, фрейлейн. И позвольте вас заверить, такие девушки, как вы, добром не заканчивают.

Если бы она дала мне пощечину, я бы не пришла в большую ярость. Одевалась я со вкусом, это верно, но лишь потому, что у меня были платья лучше, чем у других. А что

касается профессора – она обезумела? Райц женат, у него дети. И он по меньшей мере на двадцать лет старше меня. А высокие оценки поставил, потому что я много занималась. Ни разу он не...

Вот эта. Вы бы видели ее глаза. Такие глаза!

Улыбка рассекла надвое лицо фрау Арнольди.

– Кажется, вы не совсем лишены стыда. Так и должно быть. Мужчины могут поступать, как им нравится, когда жены этого не замечают. Но если так ведет себя незамужняя девушка, тут совершенно другое дело.

Я в ярости шагнула к ней, хотя Берта и прошипела:

– Марлен, нет!

Встретившись с гневным взглядом фрау Арнольди, я медленно, с подчеркнутой угрозой в голосе произнесла:

– Вы не должны беспокоить мою мать. Она подумает, что вы, Hausmutter, либо нерадивы, либо говорите неправду. И потребует компенсации от консерватории.

Фокус удался. Меньше всего фрау Арнольди хотелось, чтобы консерватория интересовалась ее домом. Кроме еженедельной платы от жильцов, хозяйка пансиона получала жалованье от нашего учебного заведения.

Она стиснула челюсти и процедила сквозь зубы:

– Конфеты. Вы приносите в этот дом сладкое. И табак. И бог знает что еще. Это запрещено.

– Ну, тогда я больше не буду этого делать.

– Да. Вы не будете, – сказала она и, повернувшись вокруг себя, рявкнула на остальных: – Вон! Сейчас же!

Бросив на меня еще один сердитый взгляд через плечо, фрау Арнольди, выпроваживая девушек, не оставила мне сомнений в том, что, хотя финансовые вопросы и утрясены, она взяла меня на заметку и теперь я на испытательном сроке.

Мы с Бертой привели комнату в порядок и уселись друг напротив друга на одинаковых односпальных кроватях. Нам следовало посмеяться. Фрау Арнольди не могла причинить никакого вреда. Ее кошелек не позволял ей этого. Но было не смешно. Я так перепугалась, что с трудом выдавила из себя:

– Это правда? О нас с профессором говорят?

– Конечно говорят, – вздохнула Берта. – Одна ты не знаешь.

– Чего не знаю? – (Она притихла и стала растирать ладони.) – Что такое? – не отставала я. – Чего я не знаю?

– Какая ты. Как ты выглядишь. Как двигаешься. В тебе что-то есть, Марлен. Ты другая.

– Ничего подобного! – вдруг рассердилась я, ведь другая – значит плохая, как сказала бы мама; другая – значит, что я не являюсь благовоспитанной девушкой из приличной семьи. – Как ты можешь так говорить? Я ничем не отличаюсь от остальных.

– Это ты сама хочешь так думать, – попыталась улыбнуться Берта. – Некоторые девушки просто наделены этим, как будто у них внутри горит огонь. Ты ни в чем не виновата. И не можешь ничего с этим поделать. Ты привлекаешь внимание. – Моя подруга помолчала, а потом понизила голос. – Ты правда никогда?..

Я не знала, что ответить. Вспомнила свою страстную привязанность к мадемуазель. Она тоже говорила, что я не такая, как другие девочки. В то время я была слишком мала, чтобы понять, однако по мере взросления начала задаваться вопросом: а может, я предпочитаю женщин? Я не была несведущей. Мама никогда не разговаривала со мной о половых вопросах, но ее предупреждения я хорошо запомнила, и жизнь в пансионе развила меня в этом смысле достаточно. Я слышала истории о девушках, которых с позором отправляли домой, и знала нескольких, ставших между собой больше чем просто подругами, – их хихи-

канье и обмен одеждой оборачивались тайным исследованием тел. Мне до этого не было дела. Да и желания присоединиться к ним не возникало. О, мне нравилось наряжаться и крутить бедрами. Приятно было наблюдать, как расцвело мое тело. Я наслаждалась, любуясь своим отражением в зеркале, поглаживая груди и длинные ноги. Я знала, что очень привлекательна. Видела это. Но избегала компрометирующих связей, опасаясь последствий.

– Лена, ты знаешь, как на тебя смотрят мальчики? – не отставала Берта. – Тебе почти девятнадцать. Большинство парней в консерватории спят и видят, как бы пригласить тебя на свидание.

Я прекрасно знала, как они на меня смотрят. Наши студенты не были тихонями, они посвистывали мне вслед и звали в танцевальный зал.

– Юноши готовы пригласить на свидание любую девушку, – ответила я. – Они все время в поисках. Я не беру их в расчет, не хочу... затруднений. – Голос мой дрогнул. – А ты когда-нибудь... занималась этим?

Берта покачала головой:

– Нам это нелегко. Как мы сможем защитить себя? Некоторые используют презервативы, если смогут достать, но это слишком рискованно. Хотя мне любопытно. А тебе?

Было ли мне любопытно? Я не могла сказать, по крайней мере еще не встречала молодого человека, который вызвал бы мою симпатию. Может, меня на самом деле больше притягивали женщины? Мне нравилось, пока Берта сладко посапывала, извлекать пальцами удовольствие из своего тела. Но конечно, это не было чем-то из ряда вон выходящим. Весь этот разговор заставил меня призадуматься. Вероятно, со мной что-то не так? И потому я так отличаюсь от остальных?

– Ну, наверное, мне любопытно, – робко сказала я.

– Что ж, кое-кто полагает, что тебе не просто любопытно. Фрау Арнольди думает, ты спишь с профессором Райцем, считает тебя распушенной. А ты ходишь с таким видом, будто тебя это совсем не волнует.

– Распушенной? У меня даже парня никогда не было!

Берта одарила меня многозначительным взглядом:

– Вот видишь! Ты флиртуешь, носишь модные платья, но не водишься с мальчиками. А значит, у тебя должен быть мужчина.

– Но это ложь! Моя мать платит профессору Райцу за частные уроки. Я никогда не поступила бы так безрассудно. Ты должна мне поверить. Он ни разу не сделал ни одного неподобающего жеста или замечания в мой адрес.

– О, я тебе верю. Верю, что ты ничего не замечаешь. Но если уж фрау Арнольди завела об этом речь, значит что-то должно быть. По ее словам, он ставит тебе высокие оценки. Ты делаешь серьезные успехи? Может быть, стоит приглядеться повнимательнее, когда пойдешь к нему в следующий раз?

– Если этот следующий раз будет, – буркнула я. – В чем я лично сомневаюсь, если фрау Арнольди выполнит обещанное.

– Следующий раз обязательно будет, – вздохнула Берта. – Как его может не быть?

Глава 2



После случившегося я ежедневно посещала занятия и упражнялась дома каждый вечер, избегала шумных сборищ и украдкой тянула сигареты, свесившись из окна комнаты. В назначенный для моих индивидуальных уроков четверг оделась так скромно, что, по-моему, напоминала монашку. Под прицелом тяжелого взгляда фрау Арнольди я вышла из пансиона и отправилась в консерваторию, где после дневной сессии некоторые аудитории были зарезервированы для частного использования.

Проходя мимо спешивших на учебу студентов, я снова забеспокоилась: какая нелепость – считать, что я вступила в связь с человеком, которого мать наняла мне в учителя. И все же, когда я вошла в кабинет и застала профессора Райца в ожидании – тощая фигура, всклокоченные волосы, облик аскета и ясные серые глаза, его главная отличительная черта, – дыхание мое сбилось. Теперь, зная, что о нас говорят, я не могла перестать думать о его руках – длинных, со вздутыми венами и нежными, как стебли травы, пальцами. А он тем временем наблюдал, как я играю заданную на дом сонату Абеля, отстукивал ритм по ноге и, склонив голову набок, шагал взад-вперед у меня за спиной, готовый подметить любую ошибку.

– Нет, – остановил меня его хриплый от курения голос. – Ваш палец не на той струне. Начните снова. И на этот раз помедленнее. Здесь не нужно торопиться.

Я вернулась к игре, но споткнулась на первых же аккордах. Резко оборвав саму себя, прокрутила в голове сонату и собралась, чтобы моя рука со смычком и другая, на грифе, работали согласованно.

Профессор больше не останавливал меня. Когда я закончила и опустила инструмент в ожидании замечаний, он долго стоял молча, а потом произнес:

– Сколько вы уже сюда ходите?

– Почти год, за исключением рождественских и пасхальных каникул.

– Так долго? Фрейлейн, мне больно это говорить, но вы не прогрессируете.

У меня вдруг защемило сердце.

– Но я занимаюсь каждый день.

– Я знаю. И вы достигли высокого уровня. Если будете продолжать практиковаться, то в конце концов сможете играть в оркестре. Но в качестве солистки... Боюсь, так вопрос не стоит.

Глаза профессора сфокусировались на мне, и я поборол слезы. Среди всего, что, по моим представлениям, могло произойти, такой поворот событий не предполагался. Я приехала в Веймар, не уверенная в успехе, однако со временем желание доказать, что я чего-то стою, пересилило сомнения. Хотелось зажить жизнью, которую избираю сама, как советовала мама. А сейчас перед моим мысленным взором возникла картина бесславного возвращения в Берлин, и мне стало невыносимо тяжело. После всего, что предприняла мать, чтобы устроить меня сюда, она никогда не простит мне этого провала или не позволит забыть о нем.

– Вы можете научить меня играть лучше? – спросила я. – Мама мечтает, чтобы я стала музыкантом, и...

– Мне известно, – перебил профессор, – что ваша мать очень на вас надеется. Вы не хотите ее разочаровывать, но давать фальшивые обещания было бы нечестно. Мне действительно не следовало брать у нее деньги. Никакие инструкции и наставления не создадут таланта там, где его нет. Вы хорошая скрипачка, но не превосходная. И никогда такой не станете.

По моей щеке скатилась одинокая слеза. Отложив в сторону скрипку и отвернувшись, я стала рыться в кармане в поисках носового платка.

– Вот, – сказал профессор Райц.

Прوماкивая глаза его платком, я ощутила сильный табачный дух, смешанный с запахом твида и еще чего-то неопределенного, наподобие мускуса. Был ли это отличительный аромат мужчины?

– Но вы... вы же ставили мне высокие оценки, – дрожащим голосом пролепетала я. – Вы писали в отчетах, что я делаю успехи. Почему вы теперь так говорите?

– Я... я думал...

Он оборвал сам себя – и я увидела тот взгляд, на который мне советовала обратить внимание Берта. Глаза профессора задержались на мне чуть дольше, чем нужно, прежде чем он отвернулся как ошпаренный.

– Вы знаете почему, – произнес он и отошел в сторону, стараясь держать дистанцию.

Фрау Арнольди думает, ты спишь с профессором Райцем, считает тебя распущенной.

Во мне вспыхнул гнев.

– Почему же вы лгали? Если я не смогу заработать на жизнь игрой на скрипке, мне незачем здесь оставаться. Это слишком дорого, напрасная трата денег. Придется вернуться в Берлин.

Профессор не обернулся, но втянул голову в плечи – приготовился к поражению. Как только я сделала шаг к нему, он прошептал:

– Вы не понимаете, я не хочу потерять вас, не могу. Вот почему лгал.

Я замерла на месте. Райц сухо кашлянул:

– Я глупец. Думал... я люблю вас.

От звучания этих слов что-то внутри меня захлопнулось наглухо, а от нанесенного ими удара что-то другое распахнулось. Я не могла до конца в это поверить. Он завышал мне оценки в табеле, чтобы я осталась здесь. Женатый человек, у которого есть дети. Германия бедствовала. Даже влиятельные профессора нуждались в средствах на оплату счетов. Если он думал, что влюблен, значит трусил. Я была его ученицей, в два раза моложе, и вполне могла разрушить всю его жизнь. Он, вероятно, слышал, какие о нас ходят сплетни, и хотел опровергнуть их, пряча свои желания за фальшивыми похвалами, а сам тем временем прикарманивал деньги моей матери. Это был ужасный, жалкий обман, и мне вдруг пришла мысль испытать искренность Райца.

– Вы любите меня и потому лгали, – сказала я, протягивая ему платок. – Как жестоко!

Он попятился:

– Что ж, вы должны ненавидеть меня.

Да, мне следовало бы его ненавидеть, причем настолько, чтобы пойти напрямик к декану и все рассказать. Теперь профессор Райц не вызывал у меня особого почтения. Но я не двигалась, потому что ощутила ту тайную силу, которая давала мне власть над ним, – силу, что таилась во мне все это время. Он разрушил мои мечты, но я сама заполонила его фантазии. В этот момент я решила отбросить осторожность, швырнуть ее под ноги вместе с обломками моих радужных ожиданий. Я сделала это от отчаяния и злости, а еще чтобы отомстить за себя и удостовериться, что разрушения основательные и он не забудет меня нико-

гда. Если мне не суждено стать мастером в игре на скрипке, если он украл у меня надежду, я заберу у него то, на что уповаешь ты.

Вложив платок в руку Райцу, я сказала, не отпуская его ладонь:

– Ненависти к вам я не чувствую. Не знаю почему, но не чувствую.

Он замер:

– Вы... вы думаете, я могу вам понравиться?

Я посмотрела на него оценивающе:

– Поцелуйте меня. Тогда и узнаем.

Он запер дверь и бросился на меня, впился в мои губы и гортанно застонал, засовывая руки, эти свои покрытые венами руки с заостренными пальцами, мне под платье, пока не нащупал мое потаенное место, отчего я испуганно ахнула. Это было не похоже ни на одно из ощущений, испытанных мной прежде. Незнакомые пальцы углублялись в меня, и хотя я желала оставаться равнодушной и не терять головы, но вдруг услышала собственные стоны и стала лнуть к нему бедрами. Животная страсть взяла верх. Я делала именно то, в чем обвиняли меня люди, и жестокую правду этого невозможно было отрицать.

Профессор уложил меня на пол рядом с чехлом от скрипки. Он не снял ни пиджака, ни рубашки, ни галстука – был настолько возбужден, что просто спустил брюки и теперь возился с чем-то, вынутым из кармана, – с какой-то резиновой штучкой, которую натянул на набухший пенис.

– Я не хочу причинить тебе боль, – пробормотал он.

– Вы не причините, – ответила я.

Но все же меня пронзила резкая боль. Дыхание прервалось, внутри все горело, но я не жаловалась. Это было мое наказание и моя награда, это было то, что я заслужила. Он тяжело скакал на мне, выгибая спину и шумно дыша. Потом вдруг весь затрясся, заставив меня сжать зубы, чтобы не вскрикнуть, рывком выдернул из меня пенис и сцепился с презервативом, изливая семя на мое бедро.

Через мгновение он издал тяжкий вздох:

– Gott mich retten³⁵, ты была девственницей.

– Нет. – Я взяла в ладони его лицо. – Господь тут ни при чем. Я этого хотела.

Райц закусил губу и посмотрел на мои колени:

– Хм, откуда тебе знать, чего ты хочешь? Ты едва стала женщиной. – Он нежно поцеловал меня, и я ощутила его солоноватый вкус и запах курева. – Я не знал, – пробормотал профессор, – казалось, ты... более опытная.

Делал ли он такое прежде? Мне хотелось думать, что нет, однако его удивление настояжало меня: вероятно, подобные истории с ним уже случались. Я, может, и была первой его девственницей, но явно не стала первой, кого он соблазнил. Только складывалось ощущение, что на сей раз соблазнила его я, и это меня радовало. В отношении соблазна таланта мне было не занимать.

Поднявшись, профессор заправил в брюки мятую рубашку и застегнул ремень. Смотреть в мою сторону он стыдился. Я села, привела себя в порядок, а когда встала, ощутила прилив тошноты, пошатнулась и почувствовала, что трусы намочили от крови. В паху ныло, наверное, боль продлится несколько дней.

– Это непростительно, – произнес профессор. Он выудил из пиджака сигарету и зажег ее трясущимися руками, хотя курить в помещении было запрещено. – Мне нет прощения, – повторил он.

³⁵ Упаси меня Бог (нем.).

Я задумчиво посмотрела на него. Такие слова должна была бы бросить ему я, но, очевидно, его чувства вины хватило на нас двоих. И сказать по правде, хотя и болезненно, но это не было абсолютно неприятно. Будь у нас побольше времени и нормальная кровать, мне могло бы понравиться. Райц не был незрелым юнцом, делающим неприличные жесты, он не собирался хвастаться своей победой перед приятелями. Ему нужно будет действовать осмотрительно, чтобы сохранить репутацию. То, что мы сейчас совершили, может навредить ему даже больше, чем мне. Меня привлекала секретность того, что нас объединило. Наконец-то у меня было нечто такое, что я получила благодаря собственной свободной воле. А если посмотреть на вещи более практически, я смогу остаться в Веймаре под опекой Райца. Мне не придется признаваться в своих неудачах матери и возвращаться домой, где я неизбежно столкнусь с проблемой, как жить дальше, решение которой еще не найдено.

– Я бы не возражала, если бы мы сделали это еще раз, – огорошила я профессора, когда он наклонился, чтобы поднять с пола чехол от моей скрипки.

Недавний любовник испуганно замер, глядя, как я, взяв чехол, направилась к двери. По выражению его лица было ясно, что такого развития событий он не предвидел.

– Я подам в отставку! – выпалил Райц, и в его голосе послышалось отчаяние человека, доведенного до крайности, но все равно жаждущего того, что может быть для него опасным. – Скажу, что болен и не могу больше преподавать.

Положив ладонь на круглую ручку двери, я остановилась:

– Зачем?

– Потому что должен это сделать! – крикнул Райц.

Он выглядел совсем потерянным, будто только сейчас понял, какими могут быть последствия дефлорации девушки на полу учебного кабинета. Мне хотелось засмеяться при виде раскаяния, охватившего профессора. Как это было глупо! Он мог лгать мне, моей матери, своей жене и всей консерватории и вот теперь, когда получил желаемое, чувствовал одни только угрызения совести. Как ребенок, подумала я, который жалеет о сломанной игрушке после того, как обращался с ней слишком грубо.

– Не увольняйтесь из-за меня, – успокоила я его и отперла дверь. – Я никому не скажу.

Так это началось.

Стыд по-прежнему мучил Райца, однако желание оказалось сильнее, и профессор возобновил занятия со мной. А когда его жена отправлялась навестить родственников, он приглашал меня домой и укладывал в свою постель. Он был нежен и обладал чувствительностью музыканта, которую легко было взбудоражить. Он играл на мне, и под моей плотью будто вибрировали струны; он научил меня большему, чем ему удавалось добиться от меня на уроках. Я узнала, что не отличаюсь от других девушек. Я такая же, как они, и у меня те же ощущения и порывы, тот же голод. Сама того не понимая, я начала видеть хрупкость Райца, которая, будто старая рана, незаметная снаружи, терзала его изнутри.

Однажды он взял мою скрипку, которая обошлась матери в две с половиной тысячи марок, небольшое состояние, служившее мне укором всякий раз, как я убирала инструмент в чехол, и, нежа ее пальцами, исполнил такую жалостливую сонату и с таким совершенством, что я разрыдалась.

– Вы – маэстро, – сказала я, прижимая руки к груди.

– Нет, – вздохнул Райц, – хотя мог бы им быть. Я любил скрипку больше всего на свете, но бросил ради женитьбы и светских приличий, ради должности и дохода. Я предал свою душу.

Он напоминал мне о поэмах Гёте, о меланхолии, которую мы, германцы, держим на привязи, потому как не должны никому показывать свои слабости. Профессор Райц со своими спутанными надо лбом густыми черными волосами, в глубине которых поблескивали

серебряные нити, с прямыми бровями, печальными глазами и опущенными вниз уголками рта, которым он сосал меня, как малыш материнскую грудь, был так прекрасен, так измучен страданием, что я не могла в него не влюбиться.

Или, может, я принимала это за любовь.

Но в одном отношении он был абсолютно прав. Я стала женщиной.

Глава 3



Берта была полна подозрений и допекала меня, пока я не призналась. Эта связь придала мне смелости. Я обстригла волосы, стала носить облегающие свитера, еще больше укоротила подола и подвернула чулки. Запретных сладостей и сигарет теперь было недостаточно. Мне хотелось исследовать жизнь за пределами пансиона и консерватории, познакомиться с Веймаром, где под величавой наружностью роскошного центра бурлила беззаботность.

Я подговаривала Берту, и мы вместе с ней в компании молодых людей пропускали занятия, сбегали в пивные, кафе и местные кинотеатры. На липких креслах, пока крутился фильм, я позволяла парням шарить по моему платью и ласкать грудь, но не более. По-своему я хранила верность Райцу, который знал, как избежать беременности. Он пользовался презервативами и никогда не кончал в меня, тогда как горячие мольбы и неуклюжие тисканья юнцов выдавали отсутствие у них опыта. Я выучила новые американские танцы и сверкала пятками в прокопченных салонах под блеяние саксофонов. И пока я отплясывала, курила и хлестала шнапс, мир менялся. Старый порядок рушился, революционное художественное движение под названием Баухауз³⁶ срывало пастельную маску, чтобы создать современный минималистский фасад. Новое мироустройство дало рождение нашей Веймарской республике, обеспечив всю необходимую риторику и не добавив ни капли стабильности.

И все же среди всех потрясений я сохраняла безмятежность. Одна ошибка – и окажешься в беде. Берта не раз предупреждала меня, что я сильно рискую, продолжая интимную связь с женатым профессором, но я заверила ее, что принимаю все меры предосторожности и не питаю иллюзий. Хотя Райц никогда не упоминал о жене, кроме как оповещая меня, дома она или нет, само ее наличие являлось неустранимым препятствием. У профессора были также сын и дочь, их фотографии стояли на каминной полке. Сын примерно одного со мной возраста. О детях Райц тоже говорил редко, но и молчания было вполне достаточно. Я не имела представления, успешен ли его брак и любит ли он все еще свою жену, но знала точно, что счастья и тепла в их союзе не хватало. Райц сам давал мне это понять без слов, я не добивалась от него признаний.

Некоторое время это меня устраивало. Он не мог встречаться со мной каждый вечер, поэтому у меня оставалась масса времени для других занятий. Я была очарована вновь обретенными друзьями. Они разглагольствовали о ярких бабочках, вырвавшихся из-под разорванного войной панциря Берлина, – театрах, кабаре и водевиль-холлах, которые появлялись тут и там посреди всеобщего упадка и нищеты. Дети массово умирали от тифа и голода. Искалеченные фронтовики не получали выплат от правительства и шли просить милостыню

³⁶ *Ба́ухауз* (нем. Bauhaus) – Высшая школа строительства и художественного конструирования, учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 г., а также художественное объединение, возникшее в рамках этой школы, и направление в архитектуре.

или продавали контрабандные товары. Женщины, которые пережили войну, потеряв мужей и сыновей, продавали с лотков все, что имели, или, если были достаточно проворными, устраивались в женские певческие и танцевальные ансамбли, так называемые девичьи хоры. В Германии царил хаос, ее изрешетили бедность и преступность. Однако каждый парень, которого я целовала, и каждая новая знакомая девушка хотели отправиться в Берлин, но не для того, чтобы превозносить Генделя, Шиллера или Гёте. Нет, они жаждали заниматься абстрактным искусством, писать сатиры, шататься по улицам и наслаждаться свободой. Они напоминали мне друзей дяди Вилли, собиравшихся в его гостиной, воодушевленных верой в то, что творчество способно исцелить любые недуги. Берлин – именно там создавалось искусство, только этот спасительный маяк мог развеять скуку повседневной рутины.

Каждый надеялся, что в Берлине ему удастся стать кем-то другим.

Но я боялась возвращаться туда.

Райц никогда не показывался на люди со мной. Мы продолжали наши тайные свидания, как уроки, – наедине, не пытаясь заглядывать вперед дальше следующего раза. Наконец мне это стало надоедать. Я хотела большего, но чего? Приближался конец моего третьего года обучения в консерватории. Сколько бы я ни задвигала поглубже эту мысль, но вечно оставаться студенткой невозможно. Пора было начинать планировать свое будущее.

– Как думаешь, мне нужно вернуться в Берлин? – порывисто спросила я Райца однажды вечером, куря в постели после любовного соития.

С ним я начала курить больше, это превратилось в наш ритуал после секса; профессору такое продолжение нравилось, ведь временами, когда постельная часть заканчивалась, он становился угрюмым.

– Берлин? – повторил Райц, стоя у окна; кончик его сигареты мерцал в полумраке. – Что ты собираешься там делать?

В его голосе не было заинтересованности, как будто речь шла о пустяках, отчего я только сильнее разгорячилась. Неужели ему все равно, уеду я или останусь? Во мне разыграло своенравие. Прошло уже столько месяцев, а он продолжает вести себя так, будто мы вовлечены в какой-то греховный процесс, вину за который он никогда не сможет искупить.

– Не знаю, – сказала я подчеркнуто небрежно, чтобы посмотреть, добьюсь ли этим какой-нибудь реакции. – Концертирующей солисткой мне не стать, но исполнять музыку я все-таки могу. Есть много разных возможностей. Новые музыкальные залы и кабаре открываются каждый день. Могу играть в дуэте или петь. – Погасив окуроч, я провела рукой по спутанным волосам и, придав голосу хрипотцы, как делают певички в местных кабаках, затянула: – «Мы не те, что любят по праву, нам доступны сотни чудес...» – Я замолчала, наблюдая, как Райц поворачивается ко мне с легкой улыбкой. – У меня приятный голос, ты не согласен? – подстрекала я его. – Друзья говорят, я пою очень хорошо.

– Это верно. И голос у тебя прекрасный. Ты знаешь, о чем эта песня? – Я пожалала плечами, и он пояснил: – Это «Das Lila Lied», «Лавандовая песня», – гимн гомосексуалистов.

– Да-а?..

Конечно, я знала это. Гомосексуалистов не раз встречала в кафе – гибкие парни в облегающих матросских брюках и забавных шапочках, вальяжно раскачивавшие бедрами. Во мне разгоралось любопытство, когда они бочком пробирались мимо меня, обменивались взглядами в баре и иногда скрывались в переулке позади кафе. Однажды я вытащила наружу Берту, несмотря на ее протесты.

Мы стояли в тени и смотрели, как один парень прислонился к стене, а другой опустился перед ним на колени и взял его в рот. Прямо там, под плохо приклеенными афишами, анонсирующими последний фильм Хенни Портен, и дерзкими лозунгами в сопровождении серпов и кулаков. Пока первый сосал, стоящий покосился на нас. И подмигнул. Берта ахнула,

отшатнулась от меня и бросилась обратно в кафе. А я осталась, пока они не завершили свое randevu: парень на коленках мастурбировал, когда его приятель кончил. Их развязная чувственность возбудила меня и заставила задуматься о причудливости форм, которые обретает желание при нашем новом порядке: ее зримым воплощением стали эти юнцы, которые не только ощущали себя свободными делать то, что делали, но, очевидно, наслаждались публичным представлением. Это больше не была мамина Германия. Когда внешние приличия утрачивают всякое значение, верх берет природное начало.

– У них есть собственный гимн? – изобразила я удивление. – Это оригинально.

– Так думаешь только ты. А для всех остальных – это еще один знак того, что мы погрязли в разврате.

Райц потянулся за халатом, подштанники уже были надеты; в этот бесформенный белый мешок, который доходил ему почти до колен и всегда вызывал в моей памяти бабушкин испуганный возглас: «Что это за жуть такая?!» – он прятался сразу, как только мы заканчивали.

Вспомнив о парнях в переулке, я чуть спустила с себя одеяло и обнажила грудь:

– Иди сюда. Пососи меня, папочка.

Ему нравилось, когда я звала его папочкой в процессе, а меня он любил называть своей *Liebling*³⁷, но только в постели.

Лицо Райца помрачнело.

– Уже поздно, – пробормотал он. – Тебе лучше вернуться в пансион, пока фрау Арнольди не нашла повода что-нибудь сказать.

Я зевнула:

– Фрау Арнольди всегда есть что сказать. Но я плачу за комнату каждый месяц, так что много она не наговорит.

Я едва не добавила, что он тоже получает плату, хотя намек был ясен. Райц никогда не позволял мне остаться на ночь, чтобы горничная, которая приходила убирать по утрам, не увидела меня. Горничная, соседи или случайный прохожий. Мы могли опускать жалюзи, чтобы осквернить его постель, но, если бы я вышла из парадной двери его дома при свете дня, нам было бы не скрыться.

Райц подвязал халат поясом.

– Так что же ты думаешь? – спросила я и, выскочив из кровати, положила руки на его худые плечи. У меня снова возникло желание уколоть. – Ты мог бы поехать со мной, – прошептала я ему на ухо, – ведь ты говорил, что бросил музицировать и всегда жалел об этом. Ты сможешь снова начать играть. Мы переедем в Берлин, возьмем себе новые имена, начнем новую...

– Хватит... – оборвал меня Райц и сделал шаг назад. Лед в его голосе заставил меня застыть на месте. – Я никогда не говорил, что сожалею об этом. Я сказал, что сдался, уступил обстоятельствам.

– Разве это не одно и то же? – нахмурилась я.

– Может, так и было. Но теперь? Берлин? – засмеялся он. – Жить среди иммигрантов, евреев и извращенцев. И в моем возрасте, с тобой одной – это нелепо.

Он меня разозлил. Я быстро надела платье, сунула ноги в туфли и приготовилась топтать мимо него.

– Не сердись, – тихо сказал он, – я не имел в виду, что было бы нелепо жить с тобой, только...

– Только – что? – Я злобно глянула на него. – Я недостаточно изысканна? Недостаточно талантлива?

³⁷ Милая, любимая (нем.).

– О нет! Ты уже не та девушка, которую я когда-то встретил. Но у меня нет интереса кардинально менять свою жизнь, чтобы заниматься тем... ну, тем, чем ты полагаешь нужным заняться в Берлине.

Впервые Райц заговорил о нашем положении, и я постепенно начала осознавать, насколько абсурдно вела себя. Я никогда не рассчитывала, что он соединит свою жизнь с моей, но услышать, как он сам говорит об этом так откровенно, будто я наивная, глупая девочка... В моем сердце что-то наглухо захлопнулось.

– На самом деле ты имеешь в виду, что у тебя нет интереса оставлять жену, – выдала я и заметила, как его лицо померкло.

Хотя Райц не отвечал, ему и не нужно было. Раньше я находила его меланхолию привлекательной. Но сейчас нет. Вдруг мне стали отвратительны его печальные глаза и его смирение.

– Я ведь у тебя не первая? – резко спросила я.

Он вздрогнул.

– Почему ты так говоришь?

– Просто чувствую. Ты так убивался, так хотел уйти со своей должности. Но теперь мне кажется, не так уж сильно ты винил себя. Это было хорошо разыграно. – Я улыбнулась. – Думаю, ты прогляпил свое призвание. Тебе нужно было стать актером.

– Марлен, как я мог устоять? Ни один мужчина не справился бы с искушением. Твои глаза и то, как ты, кажется, не замечаешь, что тебя жаждут... Я был беспомощен.

– Не думаю, что твоя жена согласилась бы с этим. И никто в консерватории.

– Не угрожай мне! – Райц быстро подошел и схватил меня за запястье. – Тебе стало скучно. Там, за порогом, – весь мир, зачем оставаться? Я ждал этого. Знал, что это случится. Но ты сама не хочешь, чтобы я бросал свой дом, жену и детей и ехал с тобой в Берлин. Если бы я сказал, что люблю тебя, ты бы мне поверила?

– Уже нет, – ответила я. – Но мне все равно было бы приятно это услышать.

– Зачем? Чтобы мучить меня еще сильнее, чем ты уже измучила, когда я знаю – и ты знаешь, – что это не может больше продолжаться? Ты так молода, ты вообще не понимаешь, что такое любовь.

Я опустила взгляд на его руку, и он убрал ее.

– Ты ошибаешься, – сказала я. – Еще как понимаю. Отлично.

Он не успел ничего ответить, как я вышла из спальни и покинула его дом.

Не оглянулась.

Хотелось плакать. Я думала, именно так следует поступить девушке. Хенни Портен заплакала бы, она обхватила бы себя за плечи и кляла судьбу. Но то было кино, а это реальная жизнь.

Я спала с женатым мужчиной, убедила себя, что люблю его, но спутала любовь с чем-то эфемерным, не имеющим продолжения. Сейчас мне больно, но это пройдет, потому что на самом деле я его не хотела. У него была семья и устоявшаяся жизнь, в которой мне никогда не будет места. Он начнет стареть, обучая игре на скрипке и соблазняя не слишком одаренных студентов. Я всегда знала, что он слаб. Знала и не обращала на это внимания, потому что жаждала иметь кого-то или что-то, что могла бы назвать своим. Но он моим никогда не был. Как можно оплакивать иллюзию?

И все же по пути к пансиону я чувствовала, как слезы жгут мне глаза.

Итак, моя связь с Райцем завершилась, и я предалась веселому разгулу. С улицы сквозь ворота консерватории проникали крики взбудораженных толп, студенты маршировали по коридорам, скандируя призывы к социалистическому равенству, и я забросила занятия. Веймар бурлил, повсюду вспыхивали бунты и акции протеста. Полиция применяла против

демонстрантов слезоточивый газ, а цены тем временем возросли до критического предела. Ломоть хлеба стоил теперь дороже духов, газетные заголовки надрывно вопили о том, как по всей Германии рабочие везут на тачках свои сбережения, чтобы купить кочан водянистого салата. Это была смерть нации, и никто не мог сказать, что возникнет на ее месте.

Я ни на что не обращала внимания. Танцевала, курила и позволяла все большему числу парней шарить у меня под блузкой. Я сама купила в аптеке презервативы, выложив марки на прилавок перед носом разъяренной жены хозяина, и использовала их всякий раз, когда очередной юнец мог сдерживаться достаточно долго, хотя большинство изливалось мне на живот. Спала я с кем попало, и меня это ничуть не заботило. Пробовала на вкус, сколько могла, чтобы смыть с языка кислый привкус Райца.

Но я понимала, что мне грозит, Берта предупреждала меня. Однажды вечером, после того как я, пошатываясь, ввалилась в нашу комнату, чтобы рухнуть в постель не раздеваясь – трусы были где-то потеряны, – она прошипела:

– Марлен, ты сумасшедшая. В этом месяце ты пропустила все уроки! Преподаватели издали предупреждение, что тебя отстранят от занятий. Фрау Арнольди готова с цепи сорваться. Говорит, что ты бесстыдница и она все расскажет твоей матери.

– Ее надо связать, – невнятно пробормотала я. – Связать и надеть намордник.

Я выпила слишком много пива. Мне не нравилось пить, потому что алкоголь ударял в голову, но я все равно заливала в себя, сколько могла. Это сглаживало острые углы, делало парней меньше похожими на батраков, когда они лазили у меня под юбкой, и пробуждало во мне больше желания.

Так я отключилась и снова пропустила утренние занятия. Спала до полудня, пока меня не разбудил резкий стук в дверь. Не успела я утереть слюни с подбородка, как дверь распахнулась, предъявив мне мать в пальто и шляпке, а также злорадствующую у нее за спиной фрау Арнольди.

– Видите? – ликовала хозяйка пансиона. – С похмелья и прогуливает. Это позор, фрау фон Лош.

– Вижу, – бесстрастно сказала мать, а следующие слова выпустила в меня, как пули: – Собирай вещи. Ты едешь домой. Немедленно!

**Сцена третья
Кинопробы
1922–1929 годы**

Просто я никогда не была амбициозной.

Глава 1



Всю дорогу домой в поезде мать молчала. Я тоже не открывала рта, размышляя про себя, поделилась ли с ней фрау Арнольди, помимо перечисления разных моих проступков, своими подозрениями насчет меня и профессора Райца. Но когда мы приехали в Берлин, я обнаружила, что даже если и поделилась, то не одно только мое поведение подхлестнуло решение матери забрать меня из консерватории.

Лизель сказала, что теперь мама служила экономкой в нескольких домах, чтобы оплачивать наше образование. Сестра заканчивала учебный курс и уже подыскивала себе работу на неполный день в соседней школе. Заветы бабушки были забыты. Из-за инфляции дядя Вилли стал держать только один магазин на Унтер-ден-Линден. Он вносил разнообразие в ассортимент товаров, чтобы привлечь новых покупателей. Недостаток денег скорее, чем упадок морали, привел к завершению моей учебы в консерватории. Мать была гордой и не могла допустить, чтобы я не вовремя вносила плату за жилье.

Неделю спустя после приезда она все же выразила мне свое недовольство.

– Ты займешься домоводством, – заявила она после завтрака. – Здесь нет места бездельникам.

– Ну что ж, – кисло протянула я, – буду убирать в квартире.

До этого разговора мать неодобрительно молчала, а Лизель ходила на цыпочках, как будто пол мог провалиться под ней, и они таки заставили меня чувствовать себя преступницей. Я ждала, что мама сорвется, обрушит на мою голову долго сдерживаемые упреки и весь ужас ее непостижимого разочарования, но она предпочла хранить ледяное молчание – до сего дня.

– Да уж, конечно будешь, – кивнула мать и застегнула пальто на все пуговицы. – Уборка, вот именно. Я нашла нового профессора музыки, который согласился обучать тебя в обмен на ведение домашнего хозяйства. – Она сделала паузу. – Это австриец, ему за семьдесят, но известный в своей сфере. Так ты помнишь, как вощить пол?

– Ты... ты хочешь, чтобы я была его горничной? – ужаснулась я. – Но ведь можно заняться чем-нибудь другим.

Лизель, сидевшая рядом, вжалась в стул и опустила взгляд в тарелку с какой-то комковатой кашей. За то время, что меня не было дома, сестра стала еще более робкой, если такое возможно.

– О-о? – изумилась мама. – И что же ты умеешь?

– Играть на скрипке. – Я пылала от возмущения. – Три года в консерватории! Ты отправила меня туда изучать музыку, – с вызовом добавила я. – И я изучала.

Мать фыркнула и строго произнесла:

– Я знаю, чему ты там научилась. Смею сказать, как и весь Веймар. Жаль, что не выяснилось раньше. Конечно, стоило прислушаться к твоему мнению и устроить тебя в музыкальную академию в Берлине, где я смогла бы лучше присматривать за тобой.

Отрицать ее обвинения было бесполезно, я и не пыталась, лишь сжала зубы. Но сколько можно обращаться со мной так, будто я должна искупить вину? Я устала от этого. Да, я вела себя дурно, пустила на ветер плату за обучение, вносимую мамой. Да, завела любовника, но единственным человеком, который пострадал от этого, была я сама. И теперь с этим покончено, с консерваторией я разделалась. Пусть потеряла голову, но обучение-то прошла и способности у меня все-таки были, так что батрачкой какого-то старика я не стану.

– Мне двадцать лет, – сказала я. – В Берлине найдется сотня девушек, способных натирать пол у австрийского профессора. Позволь мне поговорить с дядей Вилли. Он должен знать о...

– У него в магазине нет открытых вакансий, – отрезала мама, – если ты об этом подумала. Ему хватает своих проблем, так что нечего являться к нему попрошайничать.

Меня удивляло, почему мы с сестрой остаемся в этой съемной квартире, когда в семейной резиденции полно места. Но когда я спросила об этом Лизель, она сказала только: «У него там гость».

Это таинственное замечание лишь разожгло во мне любопытство. Приобретенный в Веймаре опыт заставил меня задуматься: не был ли мой дядя, с его стильными костюмами, любовью к театру и ухоженными усами, гомосексуалистом? Он никогда не состоял в браке, хотя ему уже перевалило за пятьдесят. Я ни разу не слышала о его подруге или любовнице, так что мне захотелось повидаться с этим его загадочным гостем. Однако мать отказалась организовать мой визит и запретила даже близко подходить к фамильной резиденции или к магазину.

– Я не хочу там работать, – возразила я. – Он знает людей искусства, а театрам нужны музыканты для оркестров, и я могла бы...

– Это даже не обсуждается. Пока ты живешь здесь, под моей крышей, ты будешь соблюдать мои правила. Ясно? Ни одна из моих дочерей не будет работать в театре. Это не профессия, это даже не достойное занятие. Я не потерплю, чтобы ты выставляла себя напоказ. Ты будешь делать так, как я сказала, и тогда, когда я скажу. Пришло время понять, что значит прилично вести себя.

Мне хотелось ответить, что в таком случае пора подыскивать другое жилье. Я чувствовала себя придушенной. По консерватории, может, и не скучала, но веймарской свободы не хватало сильно. Как могла мать отчитывать меня, как ребенка, обязанного слушаться ее приказаний, когда правил, которым она была привержена, больше не существовало? Разве она не видела демонстраций, не замечала голода и озлобления вокруг нас, пустых кладовых в ее собственном доме, которые толкали ее работать за гроши? Но я сдержалась. Без денег и перспектив я бы кончила тем, что оказалась на улице, что и пророчила фрау Анольди, а я должна была доказать, что чего-то стою. Не могла допустить, чтобы мать или кто бы то ни было еще заставили меня ощущать себя бесполезной. Райц лишил меня уверенности в моем музыкальном даре, и теперь я собиралась вернуть ее.

– Лизель, – махнула мать сестре, – доедай свою кашу. Ты опоздаешь на занятия.

– Да, мама, – давясь, ответила та.

Мать снова посмотрела на меня:

– Сегодня ты займешься стиркой и будешь упражняться на скрипке. Завтра я отведу тебя познакомиться с профессором.

Не дожидаясь моего ответа, она строевым шагом вышла из дому. Ее не было до позднего вечера: она стирала для кого-то другого.

– Gott im Himmel!³⁸ – прорычала я. – Это настоящий дракон.

Лизель подняла тарелку:

– А ты чего ожидала? По-твоему, она когда-нибудь смирится с тем, что ты сделала? Она была вне себя, когда узнала, что творится в Веймаре. О чем ты только думала? Нас воспитывали иначе. Как можно быть такой...

– Какой? – резко спросила я. – Что за преступление я совершила?

– Этот профессор, Лена, – сказала Лизель, и я задержала дыхание, ожидая худшего, но она добавила: – Мама послала ему плату за твои частные уроки, а он ее вернул и написал, что ты больше у него не занимаешься, хотя и была договоренность. Если ты бросила учиться у профессора и не посещала уроки в консерватории, что ты вообще делала?

– То, что мне нравилось, – злобно ответила я, хотя в глубине души была рада, что слух о моей связи с Райцем не достиг ушей сестры. – Но я все еще могу играть на скрипке, пока не разучилась, если тебя это заботит.

Лизель опустила глаза:

– Мама права. Я больше не знаю, кто ты.

Она ушла на кухню. Через мгновение я услышала, как она надевает пальто и закрывает входную дверь. Лизель работала учительницей на подменах – замещала штатных преподавателей, когда кто-нибудь заболел, увольнялся или умирал.

Я огляделась вокруг: сползающие со стен обои, пятна плесени на потолке и всегда безупречно чистая, но обшарпанная и потускневшая мебель, привезенная из Шёнеберга.

Внутри меня свернулся змеей беззвучный вопль отчаяния.

Нужно было бежать отсюда, и как можно скорее.

³⁸ Силы небесные! (нем.)

Глава 2



Когда я вошла в магазин, дядя Вилли радостно меня обнял. Времена, может, и были нелегкие, но он выглядел бодрым и подтянутым. Дядя показал мне все, что добавил к ассортименту товаров: помимо наших традиционных наручных и стенных часов, тут появились эмалевые рамки и имитации яиц Фаберже, позолоченные флаконы для духов, похожие на те, что я видела в комнате Омы, и расписные фарфоровые блюда. Целая секция в бельэтаже была отдана под ювелирные изделия: браслеты, подвески, серьги, броши и кольца красовались на синем бархате. Я не могла не спросить себя с изрядной долей удивления: почему моя мать, по всей видимости владевшая долей в бизнесе, едва сводила концы с концами? Но дяде Вилли я никаких вопросов не задала. Зато, когда восхитилась ожерельем из полированных изумрудов, он снял его с витрины. Я примерила украшение перед зеркалом, и вокруг моей шеи зажегся студеной искристо-зеленый огонь.

– Кое-что из этого придумала моя Жоли, – сказал дядя Вилли. – Разве это не изысканно? И пользуется спросом. С этими вещицами дело идет довольно успешно. Женщины любят покупать их к вечерним платьям.

Я погладила пальцами камни:

– Это ужасно дорого?

Сколько стоят изумруды, я понятия не имела, но догадывалась, что такие покупки по карману только очень богатым людям, а сколько богачей было в Германии в те дни?

– Это – да, – кивнул дядя, наклонился к моему уху и прошептал: – Только никому не говори. За исключением этой штуковины и еще нескольких, которые тут в основном для вида, все остальное – фальшивки. Моя Жоли такая умница. Она говорит, в Париже сейчас модно использовать стразы вместо настоящих камней. Никто не может определить разницу, да и при таком состоянии экономики мало кто себе позволяет все это.

Я бы никогда не догадалась, так как не умела распознавать подделки, однако дядя Вилли уже дважды упомянул свою Жоли.

– Лизель говорит, у тебя в доме живет какой-то гость. Это Жоли?

– Да, – расцвел он, – моя жена. – Не успела я отреагировать на эту неожиданную новость, как он продолжил: – Ты должна с ней познакомиться, она будет от тебя в восторге. Она так сильно напоминает мне нашу дорогую Ому – такая элегантная и утонченная. Жоли сотворила чудо, оживив твоего усталого старого дядю и его бизнес.

Как вовремя я появилась здесь!

– Мне было бы очень приятно, – сказала я, неохотно расстегивая ожерелье и возвращая его дяде.

Убрав украшение в ящик, дядя Вилли вздохнул:

– Я бы пригласил тебя сразу, как только ты вернулась из Веймара, но Йозефина об этом и слышать не хочет.

– Да. Боюсь, она очень зла на меня.

– Вот как? Об этом она не упоминала, сказала только, что ты завершила положенное обучение в консерватории и пришло время возвращаться. – Голос его смягчился. – Мне надо было догадаться.

Я кивнула, вдруг испытал укол унижения. Дядю я любила всегда, но рассказывать ему о своих сомнительных приключениях не хотела, даже предполагая, что он бы все понял.

Будто ощутив мою неловкость, он улыбнулся:

– Не беспокойся, Liebchen. Моя сестра – хорошая женщина, но терпимостью не отличается. И у нас с тобой есть нечто общее, потому что мою Жоли она тоже не одобряет. Твоя мать так недовольна мной, что отказывается принимать от меня деньги, хотя сейчас наши дела идут лучше, чем за все послевоенное время. Но я продолжаю вносить ее долю на счет в банке, – добавил дядя Вилли и подмигнул. – Думал, средства могут понадобиться на твоё обучение и частные уроки.

Пришлось опустить глаза, чтобы он не заметил, как ужасно я себя почувствовала. Мать, конечно, много лишала себя, чтобы обеспечить мои нужды. Она делала это, потому что мечтала, что я выйду из консерватории солисткой и займу место на большой сцене. Ей и сейчас этого хотелось, отсюда и возник договор о ведении хозяйства австрийца. Разочарование матери, когда она узнала о недостатке у меня таланта, сделало ее еще более нетерпимой и требовательной по отношению ко мне.

Дядя повел меня обедать в кафе «Бауэр», и я впервые с момента приезда в Берлин прилично поела. За свиными отбивными с приправленным мятой картофелем – это блюдо стоило, наверное, целое состояние – он рассказал мне, что познакомился с Жоли на приеме в честь принца Вильгельма, сына кайзера. Принц остался в Германии, несмотря на то что отец был изгнан, и общество так же добивалось его внимания, как и прежде. Вильгельм представил мадам Жоли дяде Вилли, и тот был сразу сражен наповал.

– В то время она была замужем, – объяснил он, – за одним американским изобретателем, который придумал карнавальную аттракцион под названием «Чертовое колесо». Жоли сказала мне, что больше не любит мужа, и мы решили: лучшего момента для начала нашей совместной жизни не найти. Она полячка, очень рассудительная, объехала весь мир, хотя по ней этого не скажешь.

Я удержалась от вопроса, чего по ней не скажешь: что она объехала весь мир или что она полячка? Мне стало ясно, почему мать была недовольна. Иностранка, да еще разведенная, живет в фамильном доме Фельзингов как новая хозяйка. Мама, должно быть, чувствовала, как Ома переворачивается в своем гробу.

– У нее необычное имя, – сказала я, подбирая соус с тарелки кусочком хлеба и не заботясь о том, что от этого кое-кто тоже может перевернуться в своем гробу.

– Это имя ее собачки. А вообще-то, ее зовут Марта Хелена. Но все называют ее Жоли.

– Все?

Дядя кивнул, делая знак официанту, чтобы тот принес счет.

– Мы по старинке устраиваем вечера. Жоли, как и я, любит театр и обожает принимать гостей. Хотя все сильно изменилось, людям по-прежнему нужны развлечения. Она подбила меня вложиться в кое-какие постановки – не говори ничего матери, – и я продолжаю сдавать верхний этаж. Мой съемщик вызывает всплески интереса своим изобретением. После войны стали раздаваться звонки со студий с предложениями запатентовать его линзы для кинокамер, чтобы снимать фильмы.

Я села прямо. Должно быть, на моем лице отобразилось заинтересованное нетерпение, потому что, расплатившись по счету, дядя Вилли лукаво покосился на меня:

– Может, пригласить тебя на чай?

– О да! Пожалуйста.

– Хорошо. Как сказала бы моя Жоли, лучшего момента не найти.

Она действительно была нечто.

С тонкой костью и пикантным лицом, Жоли носила продолговатые серьги, волосы укладывала на голове в виде тюрбана, а брови выщипывала, превращая в две тонкие изогнутые линии. Кроме того, у нее были самые длинные и самые красные ногти из всех, какие я когда-либо видела. Аромат ее духов окутал меня, когда она во французском стиле поцеловала меня в обе щеки, но пахла эта женщина не так, как Ома, не цветами, а чем-то ладанно-мускусным.

– Дорогая Марлен! – воскликнула она.

Легкий, но вполне различимый акцент в ее немецком выдавал происхождение. Правда, изумило меня не ее загадочное прошлое, а несоответствие образу бывалой путешественницы, хотя, на мой взгляд, она выглядела крайне экзотично. И может быть, ее готовность к сюрпризам? У себя дома, посреди дня она была одета так, будто ожидала визита короля.

– Мой Вилли много рассказывал о вас. Садитесь здесь, рядом со мной. Я хочу узнать о вас все. Вы, кажется, скрипачка – с дипломом по меньшей мере известной консерватории. Как это возвышенно! – произнесла Жоли. – Вам, наверное, не терпелось вернуться в Берлин, ведь здесь столько возможностей для музыкантов.

Сидя возле новой хозяйки дома на краешке дивана, застланного теперь узорчатыми платками, я краем глаза оглядывала гостиную, пока Жоли распорядилась насчет чая. Ее влияние было заметно повсюду. Все строгие абажуры она заменила на отделанные бахромой и кисточками, а также убрала со стены над камином портрет моего прадеда Конрада Фельзинга, основателя семейного дела. На его месте теперь висела какая-то странная картина – написанный мутными красками, отвратительный арлекин с квадратным лицом.

– Вам нравится? – спросила Жоли. – Художник – Пабло Пикассо. Я купила это в Париже за бесценок. Он становится очень знаменитым, этот каталонец с непревзойденным чувством цвета и формы. И вкусом к женщинам. – Она хихикнула. – В женской фигуре он тоже неплохо разбирается.

Служанка принесла чай. Запечатлев долгий поцелуй на губах Жоли и легонько чмокнув меня, дядя Вилли сказал, что должен вернуться в магазин, а мне напомнил:

– Не забудь: Йозефине – ни намека.

Я кивнула. Если бы я обмолвилась об этом матери, она бы меня со свету сжила.

Жоли отпустила служанку и сама разлила чай, что тоже было необычным. Ома не удосужилась бы налить чая даже самому кайзеру.

– Вы пока еще не произнесли ни слова, – сказала Жоли, протягивая мне чашку, в которую навалила сахару. – Я вас разочаровала?

– Нет, – ответила я. – Вообще нет, фрау Фельзинг...

– Фрау! – Она залилась смехом. – Пожалуйста, называйте меня мадам. Или Жоли, если вам так больше нравится. «Фрау Фельзинг» звучит так, будто я древняя старуха.

Она сделала маленький глоток, отведя в сторону изящно изогнутый мизинец, будто продемонстрировала лакированный ноготь.

– Я боялась, что вы можете меня не одобрить, – призналась Жоли. – Ваша мать определенно против. О, как она смотрела на меня, когда Вилли нас знакомил. – Она выкатила глаза с таким драматическим напором, что напомнила мне Хенни Портен, и продолжила: – Если бы взгляды могли убивать, я рассталась бы с жизнью во время нашего с ней разговора. У вас, кажется, есть еще сестра. Элизабет? Ваша мать не позволяет ей даже ступить на порог этого дома.

Я глотнула чаю и обожгла язык.

– Вы счастливы, что вернулись? – спросила Жоли.

– Счастлива, мадам? – недоуменно посмотрела я на нее.

– А что, да, – пожала она плечами. – Ваша мать – несчастная женщина, а когда женщина несчастна, она делает несчастными всех вокруг себя. Это наше проклятие. Как только Ева откусила от запретного плода, она наделила нас силой воздействовать на мир – во благо и во зло.

– Мама не несчастна, – ответила я, удивляясь сама себе: с чего это мне взбрело в голову защищать женщину, от которой я хотела сбежать, – но она не слишком чутка, это верно.

– Увы, те, кто обречен всю жизнь проводить в страхе, остаются глухи к зову собственных сердец, потому что им хочется вести себя так, как мы, но они не смеют.

Я была ошарашена. Жоли совсем не походила на человека, склонного к раздумьям. Но в ней, оказывается, были скрытые глубины. Теперь мне стало ясно, что сразило дядю Вилли: Жоли была полной противоположностью немкам.

– А теперь, – улыбнулась она, показав желтоватые от чая и слегка запачканные помадой зубы, – расскажи мне всё, моя дорогая. Я хочу, чтобы мы подружились.

Жоли обладала всеми чертами, к которым питала отвращение мама, – современная женщина, столь же свободная в речах, как и в морали, бросившая мужа, чтобы поймать на крючок моего дядю, – и я поделилась с ней сокровенным, не смогла сдержаться. Она была так оригинальна, так необычна. Ее искренность ослабила узел в моей груди, и я изложила историю своих походов в Веймаре, лишь мельком касаясь подробностей связи с профессором Райцем, но не утаивая того, что не оправдала материнских надежд и теперь оказалась в ситуации, когда должна податься в служанки ради уроков, которые не принесут мне никакой пользы.

– Я достаточно хорошо играю на скрипке. Мне больше не нужны уроки, – завершила я свою исповедь.

Жоли сидела в молчаливой задумчивости, а потом сказала:

– Может быть, этот новый профессор действительно знаменит, как утверждает твоя мать, и поможет тебе научиться играть еще лучше. – Она посмотрела на меня оценивающе. – Но само собой, это ни к чему не приведет, если у тебя нет желания. Не вижу причин, почему бы не искать свой путь самостоятельно. Среди наших знакомых есть управляющие театрами, которые могут взять тебя на работу. Но... платят сейчас так, что, боюсь, тебе не хватит на то, чтобы куда-нибудь переехать. В театрах все бедны как крысы. Шоу должно продолжаться, как говорится, однако в Берлине на этом сильно экономят.

– Это не важно. Я готова на все.

– Кроме воцеления полов, – отозвалась Жоли и снова улыбнулась. – Я тебя не виню. Ты обучена, только...

– Только – что? – нетерпеливо спросила я. – Чего еще мне не хватает?

Она окинула меня взглядом:

– Моя дорогая, я не хочу, чтобы это прозвучало резко.

Я обмерла. Потом, догадавшись, о чем речь, разгладила руками помятую шерстяную юбку и пробурчала:

– Мама забрала у меня всю одежду. Отчитала, что я не должна выставляться напоказ.

– И вместо этого устроила другое представление: одела тебя, как вдовушку. – Жоли поставила чашку на блюдце. – Ты не можешь в таком виде пойти на прослушивание. У меня есть несколько вещей, которые я могу тебе одолжить, – пару пальто, по крайней мере. На чердаке остались платья твоей бабушки, мы перешьем их для тебя. – Она щелкнула пальцами. – Лучшего момента не найти. Allons-y!³⁹ Посмотрим, что у нас получится.

³⁹ Пошли, за дело! (фр.)

Глава 3



Это стало моим новым секретом.

Я согласилась брать уроки у австрийского профессора, который вполне оправдал свою репутацию ворчуна и придиры, и скрести полы в его доме. По совету Жоли мне нужно было восстановить навыки для прослушивания. А после трех часов практики и двух часов уборки в захламленной профессорской квартире я приходила в дом дяди, где Жоли давала мне примерить новые платья, которые сшила для меня.

То, что осталось от Омы, безнадежно устарело, заявила она. Невозможно изменить стили, которые вышли из моды еще до войны. Вместо этого она выманила у Вилли, который ни в чем не мог ей отказать, деньги на новые наряды. Когда я впервые примеряла эти прекрасные платья с открытыми вырезами и дерзко укороченными подолами, то еле смогла влезть в них.

– Ты слишком толстая, – сказала Жоли; теперь она не боялась быть резкой. – Чем бы ни кормила тебя мать, ты должна есть меньше. Рубенсовские фигуры хороши для музеев, но не для моды. Это сшито по подходящим для тебя меркам. Ты должна сидеть на диете, пока не будешь в состоянии надеть эти платья.

Удрученная, но полная решимости, обученная Жоли аккуратно пользоваться пинцетом для прореживания моих «бровей-джунглей», как она выразалась, и бережному мытью волос, при котором они становились светлее, потому что «блондинки всегда популярны», я села на диету, едва не доведившую меня до обмороков, пока я пиликала на скрипке, а профессор постукивал своей палкой.

– Нет, нет! – восклицал он, нетерпимый, как всякое веймарское ископаемое. – Вы собираетесь играть на скрипке или разделять мясо? Вы держите смычок как тесак. Мягче, мягче. Это продолжение вашей руки, а не орудие мясника.

Мои навыки были отточены австрийцем – не так сильно, как мне хотелось бы, но я стала играть лучше, чем раньше. А Жоли тем временем занималась моей внешностью. Я умерщвляла плоть, пока не настал тот день, когда я наконец влезла в новую одежду.

– Ты выглядишь как-то иначе, – проворчала мама за ужином. – Ты что-то сделала с волосами?

– Подстриглась покороче, – сказала я, – для скрипки. Чтобы они... не лезли мне в глаза.

Говоря это, я опустила лицо, чтобы она не решила провести инспекцию моих заметно похудевших щек и истончившихся бровей. До этого не дошло. Мать была слишком утомлена работой. Она ложилась спать, как жена фермера, с заходом солнца, оставляя нас с Лизель мыть посуду и убираться на кухне перед отходом ко сну.

Моя сестра не была столь близорукой.

– Ты ходила к этой женщине? – произнесла она так неожиданно, что я чуть не выронила из рук тарелку, которую вытирала. – К гостье дяди Вилли. Она тебя научила всякому. Ты ешь,

как птичка, и брови у тебя выщипаны. И ты не только обстригла волосы, но еще и покрасила их.

– К жене. Она – жена дяди Вилли. – Я расправила плечи. – Что, собираешься наябедничать?

– Нет, Лена, – сказала Лизель, убирая посуду в буфет; мама любила, чтобы везде был порядок. – Но она обязательно узнает. И тогда...

– Я уйду. Я подыскиваю работу в оркестре и, как только смогу, сниму себе комнату.

Лизель посмотрела на меня скептически:

– На жалованье музыканта?

Она была права. Жоли предупредила меня. На самом деле она предлагала переехать жить к ним с дядей Вилли, но, хоть я и попала под ее влияние, зайти настолько далеко не могла. Если я брошу свой дом и поселюсь у них, мать отречется от меня. Достаточно того, что мне удавалось обманывать ее. Она бы пришла в ярость, если бы узнала, что я ходила на прослушивания в кварталы, расположенные за роскошным бульваром Курфюрстендамм, неподалеку от Беренштрассе, где деревья, унизанные лампочками, и элегантные фасады универсальных магазинов уступали место лабиринту улочек с кричаще безвкусными театрами, кинозалами и освещенными неоновым светом кафе, а также с вульгарными кабаре, мюзик-холлами и прочими заведениями с сомнительной репутацией.

Прослушивания проходили мучительно. Безработных музыкантов в Берлине было больше, чем я предполагала. Моя веймарская подготовка и связи дяди Вилли развеивались как дым, когда люди сбегались сотнями, услышав объявление о приеме на работу. Их отчаяние лишь подстегивало администрации театров к придирам, чтобы снизить уровень оплаты. Музыканты-мужчины, вне зависимости от способностей, всегда побеждали. Женщины в оркестрах были редкостью, если не брать в расчет пользовавшиеся дурной славой девичьи кабаре, которых становилось все больше. Там женщины выступали на сцене, играли в оркестрах, а после шоу работали за сценой. Но так же как я отказалась переезжать в дом дяди Вилли, я устояла и перед искушением поступить в кабаре, потому что пренебречь маминскими правилами, внушенными мне с детства, было не так легко. Музыкант – да. Актерка в бульварном шоу – ни за что.

После месяца постоянных отказов я была безутешна, но вмешался дядя Вилли. Он пригласил на обед директора процветающей сети кинотеатров, которой владела студия «Универсал фильм акциенгезельшафт», или «УФА». Эта студия начала с показов коротких лент о войне и позже перешла к съемкам полнометражных фильмов, где играла Хенни Портен, мой веймарский киноидол. Директор пожаловался, что один из передвижных оркестров, которые сопровождали фильмы, остался без скрипача. Дядя Вилли заверил меня, что эта работа – моя. «УФА» не испытывала проблем с наймом женщины, потому что меня все равно не будет видно в оркестровой яме. Но плата была еще меньше, чем предлагали управляющие театрами, ее едва хватило бы на пропитание, а о том, чтобы уехать от матери, и думать не стоило.

– Я же говорила, – вздыхала Жоли, – ты всегда можешь перебраться к нам. Мы были бы тебе рады. Не так ли, Вилли, дорогой?

Мой дядя не выказывал по этому поводу большой радости. Он тоже боялся гнева Дракона, как я прозвала мать.

– Нужно посоветоваться с Йозефиной, – ответил он. – Это будет правильно. У нее доля в бизнесе. Я бы не хотел создавать ей дополнительные проблемы.

– Конечно, – встряла я, не дав Жоли выразить протест. – Ничего не нужно. Если я получу работу, это будет началом.

Я через силу улыбнулась, хотя чувствовала себя скверно, представляя, что будет, когда мать обо всем узнает.

Мама не повысила голоса. После того как я сообщила, что поступила в небольшой оркестр, аккомпанирующий фильмам, она произнесла только: «Понятно» – и ушла на работу.

Расстроенная тем, что не сказала матери сразу и о готовящемся переезде в фамильную резиденцию, я поймала на себе взгляд Лизель.

– Ты бы лучше начала подыскивать себе комнату, – посоветовала она.

Я вздохнула. Разумеется, сестра была права, хотя осилить это казалось таким же невероятным, как и все остальное.

Работа оказалась утомительной и нудной. Музыкальный репертуар был подобран отдельно для каждого фильма, крутившегося на экране у меня над головой, и мелодии исполнялись такие же тривиальные, какими были сами картины. Я удивлялась: что меня покорило в Хенни Портен? Шесть дней в неделю наблюдая за ее пантомимами по ходу перипетий сюжета, я стала считать Хенни скорее плохой актрисой. Но ее узнавали все и везде, куда бы она ни пришла, а я тем временем пиликала на скрипке в оркестровой яме с другими музыкантами, которые заигрывали со мной в перерывах. Но я хорошо запомнила веймарский урок. Несмотря на бесчисленные приглашения, я всем отказывала. Мне нужны были работа и деньги, потому что надутые губы матери в ответ на то, что она считала своенравным отказом от карьеры концертирующей солистки, обернулись наказанием в виде процента от моего жалованья к квартирной плате. Меньше всего мне тогда хотелось вляпаться в какую-нибудь глупую романтическую историю.

Если бы даже я набралась смелости сказать ей, что никогда не жаждала снискать шумную славу первой скрипки, у меня не доставало для этого ни сил, ни времени. Контракт вынуждал нас перемещаться между принадлежавшими «УФА» кинозалами в Берлине, Франкфурте и Мюнхене. Окружающая обстановка менялась, но унылые комнаты в отелях и репертуар оставались одинаковыми. Я выучила все мелодии и знала все фильмы наизусть. Могла играть на скрипке, смотреть картину и поддегивать подол, чтобы на запарившиеся в чулках ноги хоть чуть-чуть поддувало, и при этом не пропускала ни ноты.

Однажды вечером, по окончании четвертой недели моей работы в оркестре, я надела пальто и приготовилась плестись домой, взяв в руку заметно обтрепавшийся за последнее время футляр. Меня перехватил управляющий и пригласил пройти в свой кабинет. Там он подтолкнул ко мне через стол конверт.

– Ваша последняя выплата. Сочувствую, фрейлейн Дитрих.

– Вы увольняете меня? – Я была ошеломлена. – Но почему? Вы говорили, что я очень хорошо справляюсь.

– Так и было. Тем не менее нашлись люди, которые пожаловались.

– Пожаловались? – Я сразу сообразила, кто это: все те, кому я отказала. – С чего бы это они стали жаловаться? На самом деле это я должна выражать недовольство, потому что некоторые из них опаздывали к началу фильмов или играли не по той партитуре.

– Ноги, – объяснил он и встретился с моим ошарашенным взглядом. – Музыканты говорят, вы их слишком отвлекаете. Вы поднимаете юбку, чтобы показать ноги, и смущаете коллег. Это была ошибка – нанять женщину.

Я в ярости схватила конверт и бросилась вон, но, оказавшись на бульваре, чуть не заплакала. Меня уволили за ноги, а я всего лишь пыталась получить хоть какое-то облегчение, чтобы не сопреть заживо в этой адской оркестровой яме. Теперь я была безработной. Стоило подумать о том, что скажет мать, каким триумфом наполнится ее голос, когда она заявит, что мне следовало держаться за место в доме у профессора и уроки скрипки, пока не представится подходящая возможность...

Я кинулась в ближайшее кафе. Никогда ничего себе не покупала, так хотя бы порадовать себя приличной едой за самостоятельно заработанные деньги, прежде чем отдам все, что останется, фрау Дракон.

Был ранний вечер, когда на улицы вываливали все, у кого имелись свободные средства, с целью их потратить. Заказав самое дешевое блюдо из меню с фиксированными ценами, я, неловко раскачивая футляром со скрипкой в одной руке и кружкой пива – в другой (да, я буду пить, и пусть мать учует запах), оглядела забитый народом зал в поисках свободного места и увидела одно в углу. Там за столиком сидела темноволосая женщина и что-то писала в блокноте, возле которого стояли чашка с кофе и переполненная окурками пепельница.

– Простите, фрау, здесь не занято? – спросила я.

Незнакомка подняла взгляд. Едва ли она была фрау. По крайней мере на вид эта женщина казалась немногим старше меня – с глубокими карими глазами и усталым ртом. Пальцы испачканы чернилами.

– Нет, – она убрала со свободного стула гобеленовую сумку, – присоединяйтесь.

Я не намеревалась присоединиться к ней. Мне просто было нужно место, чтобы поесть. Но как только я села напротив и улыбнулась, незнакомка протянула вперед замаранную чернилами руку:

– Герда Хюбер.

– Марлен. Марлен Дитрих.

После секундного колебания я пожала ее ладонь. Она была сухая, но мне понравилась крепкая хватка. Прежде я видела только мужчин, в качестве приветствия пожимающих друг другу руки. Разглядывая свою новую знакомую, я отметила, что она носит английскую блузку с замысловато повязанным черным галстуком. Она не была дурнушкой, но, казалось, хотела ею быть: стянутые в тугой узел волосы и в целом какой-то бесцветный облик делали ее неприметной.

– Выглядите утомленной, – сказала Герда. – Паршивый денек?

– Наихудший. – И тут я проболталась: – Меня выгнали с работы.

Моя собеседница поморщилась:

– С такой экономикой женщине вообще нелегко найти работу.

– Вот из-за чего меня уволили... – Я замолчала, пережидая, пока официант поставит принесенную мне кислую капусту с зажаренной сосиской, после чего указала рукой вниз. Герда опустила взгляд, и я приподняла юбку. – Из-за того, что я женщина. Я играла на скрипке в оркестре для «УФА». Мои коллеги пожаловались на меня. Вы можете в такое поверить? – Я сама не понимала, почему выбалтываю ей все это. Мне нужно было с кем-нибудь поделиться, и я не рассчитывала, что увижусь со своей слушательницей вновь. – Они заявили, что я выставляю напоказ ноги, чтобы отвлечь музыкантов. – Я отхлебнула пива. – Да они вообще хоть что-нибудь соображают? В этой яме все равно что в печке, и управляющий требовал, чтобы я всегда носила чулки, невзирая на то, сколько они теперь стоят.

– Но сейчас на вас нет чулок, – заметила Герда.

Я осеклась:

– Да, конечно. На них пошла стрелка, и я их сняла.

– До или после того, как вас уволили? – Она улыбалась. У нее были неровные зубы, потемневшие от бесчисленного количества сигарет и дешевого кофе. – Не в том дело, – добавила она. – В нашем мире вообще не уважают женщин. Мы живем в век безудержной мизогинии.

– Мизо... чего?

– Мизогинии. Предубеждения против женщин, или женоненавистничества. – Она постучала пальцем по моей тарелке. – Вам нужно поесть. Холодная капуста не слишком аппетитна.

Ее слова вернули меня в прошлое и в другое кафе, где я сидела с обожаемой учительницей и она посоветовала мне выпить кофе, пока тот не остыл.

Я подозвала официанта, и он вернулся с хмурым лицом, выражающим досадливое нетерпение.

– Принесите еще порцию для моей подруги, – попросила я. Она начала отказываться, но я махнула официанту, чтоб уходил. – Угощаю. Это моя последняя зарплата, и неизвестно, когда будет следующая, а остатки я отдам за квартиру, так что мы должны насладиться моментом.

Герда опустила голову:

– Danke⁴⁰, Марлен.

За едой я рассказала ей, как стала играть на скрипке, а она сообщила, что занимается журналистикой, работает внештатно – пишет статьи в газеты.

– Глупые истории о глупых людях, – поморщилась моя новая знакомая. – Редакторы считают, что женщины способны писать только о недавних любовных интрижках Хенни Портен или о последнем шоу на Беренштрассе с этой омерзительной Анитой. – Герда согнула кисти, как клешни, и приложила к щекам. – Я Анита Бербер, – сказала она, кривляясь. – Ты любишь кокаин, дорогой? Я намазалась им. Willkommen⁴¹ в мой танец ужаса, вожделения и экстаза.

Я громко расхохоталась – и почувствовала себя хорошо. Уже много недель мне было не до смеха. Я тоже видела эти афиши с Анитой Бербер, изображавшей из себя красноротую вампиршу.

– Это правда, что она выступает обнаженной?

– Голой, – поправила Герда. – Обнаженность выдает вкус. А у нее его нет.

Она закурила, хотя еще не закончила есть, и, выпуская дым, подтолкнула ко мне пачку сигарет. Я взяла одну. Пиво, сигареты, сосиски. Мать хватит удар. Ну и пусть.

– Я хочу писать о серьезных проблемах, которые влияют на нас сейчас, – сказала Герда, сердито оглядывая кафе и его словоохотливых завсегдатаев. – Об этой ужасающей экономике, политической нестабильности и эмансипации женщин. Вот что следует знать людям и о чем нужно читать в газетах, вместо сенсационных басен одурманенных кокаином шлюх или рассказов о глупых выходах переоцененных актрис.

– Портен переоценивают, – согласилась я, держа сигарету в руке и жадно разламывая вилкой недоеденную Гердой сосиску; какой смысл теперь сидеть на диетах. – Когда-то я перед ней преклонялась. Видела все ее фильмы, даже запоминала реплики по титрам. Когда я жила в Веймаре, у меня отлично получалось подражать ей, но после этой работы – уфф. Она такая неестественная. Разве то, что она разыгрывает, – это жизнь?

– Нет, – поддержала меня Герда, – она имитирует жизнь. Именно это всех и заботит: отвлечься от катастрофы, которую мы сами на себя навлекли, проигнорировать ее. Жизнь слишком реальна. Лучше сделать вид, что ее не существует.

Теперь настал мой черед оглядеться. Война продолжала оставаться свежей раной. Каждый в Германии кого-то потерял на ней. Но никто не захотел бы услышать пренебрежительные отзывы о войне и утверждение, что это катастрофа, которую навлекли на себя мы сами: такой подход подразумевал бы, что мы упустили возможность избежать ее.

– Вы из-за меня занервничали, – сказала Герда. – Да, я умею выражаться прямо. Даже слишком, как говорят мне редакторы. Вот почему они никогда не позволяют мне писать о чем-нибудь существенном. Женщина, излагающая правду, – это тоже слишком реально.

Меня смутило, что она будто видит меня насквозь.

⁴⁰ Благодарю, спасибо (нем.).

⁴¹ Добро пожаловать (нем.).

– Так и есть, моя мать потеряла на войне брата и мужа и... – Я замялась под неподвижным взглядом новой приятельницы. – Меня приучили верить, что честный немец, хороший немец должен всегда поддерживать и одобрять мотивы, по которым война была начата.

– Несмотря ни на что. – Герда вонзила сигарету в пепельницу. – И я была такой же. Потеряла двух братьев из-за этой войны, потом решила, что пора начать мыслить самостоятельно. Как писал Гёте, «никто не находится в столь безнадежном рабстве, как те, кто ошибочно полагает, что они свободны». – Герда протянула руку через стол, не замечая того, что задевает тарелку рукавом блузки, и пожала мою ладонь. – Вы мне нравитесь, Марлен. В вас есть смелость. Маркс сказал, что люди сами творят свою историю. Женщины тоже на это способны, если только нам дадут шанс. Вы меня поразили как человек, который хочет сотворить свою собственную историю.

Правда? В тот момент я себя такой не ощущала, но ответила только: «Вы мне тоже нравитесь» – и поняла, что так и есть. Я могла зайти в любое кафе, но оказалась здесь и встретила с ней. Она помогла мне забыть на целый час о том, что я утратила свой единственный источник дохода и должна расстаться с мечтой о независимости. Но теперь, нашарив в кармане конверт и выживая из него деньги, чтобы заплатить за нашу пирушку, я все вспомнила, и мне стало тяжело.

– Я должна идти домой, пока еще не слишком поздно.

– Вы должны? Или со мной вы почувствовали себя настолько некомфортно, что возникла потребность уйти?

– Нет, что вы! Никакого дискомфорта.

Мой ответ был слишком поспешным. Правда состояла в том, что, хотя Герда и понравилась мне, она привела меня в смятение. Она не была женственной, как мадемуазель, утонченной, как Ома, или чарующей, как Жоли. Герда не походила ни на одну из известных мне женщин. Она говорила то, что у нее на уме, с прямоотой, больше присущей мужчинам.

– Почему бы вам вместо этого не пойти со мной? – сказала она мягко, но с явным вызовом.

Она жила в пансионе в округе Вильмерсдорф. Дом был старый, с осыпающимся фасадом. Лучшие дни таких особняков настали и прошли в эпоху империи, а теперь эти здания превратились в прибежища для многочисленных временных жильцов. Комната Герды была не больше моей веймарской, зато с собственной крошечной кухней. Повсюду стояли стопки книг – тома Гёте, Маркса, Цвейга, Манна и других, не знакомых мне писателей, американских или, возможно, английских, типа Фицджеральда и Джеймса. Жили у Герды и две полосатые кошки, которые при нашем появлении жалобно замыкали. Я поняла, почему она не доела сосиски в кафе – припасла для своих питомцев. Расстегнув сумку, Герда вынула завернутые в салфетку кусочки и разложила их по облупленным планшетам. Я наблюдала за этим, укоряя себя, что от жадности проглотила часть обеда ее полосатых друзей.

– Все, что могу себе позволить, – пояснила она. – Немного своей еды и сливки с молока, которое Труде приносит мне по воскресеньям. Бедняжки. Но они же не выглядят недокормленными? От них могли остаться только кожа да кости, но Труде обожает их и дает добавку. Вы любите кошек?

– Да. – Я присела на корточки. – У меня их никогда не было, но ведь считается, что они приносят удачу?

– Древние египтяне, очевидно, верили в это, – сказала Герда, снимая шарф. – Сейчас в Берлине, с такими ценами на мясо, их считают продуктом питания.

Я ахнула и взглянула на нее:

– Честно? Люди едят?..

– Мне так говорили, – пожала плечами Герда. – Сама я ни разу не сталкивалась. Хотите кофе?

Она вошла в кухню, а я осталась сюсюкаться с кошками. Одна из них, грациозно лавируя по комнате, подошла ко мне и начала урчать.

– Вы ему нравитесь. Это Оскар. Как Оскар Уайльд. Красивый дьявол, правда?

– Кто такая Труде? – спросила я.

Кошка была очень мягкая на ощупь, ее шерстка струилась под моими пальцами, как шелк.

– Хозяйка пансиона, – ответила Герда, появившись из кухни с кофейником и двумя чашками на подносе. – Она очень милая. Немного чокнутая, но по-настоящему добрая душа, таких в этом городе мало. Труде следит за домом: комнаты сдает только женщинам, в основном честолюбивым певичкам из девичьих хоров или актрисам. Некоторые из ее жилищек учатся в академии Макса Рейнхардта. Вы слышали о ней?

Я покачала головой, взяла на руки Оскара и устроилась с ним на стуле с комковатым сиденьем.

Герда разлила пахнущий цикорием кофе и сказала:

– Я тоже, а Труде обожает театр. Она сама хотела быть актрисой, но в свое время этого не сделала. Большинству из нас нужно как-то зарабатывать на жизнь, а возможностей, помимо кабаре, работы моделью, актерства или, разумеется, древнейшей профессии, не так много. Академия Макса Рейнхардта считается лучшей, многие выпускники идут работать в его же антрепризы. – Герда окинула меня взглядом. – Приятнее попытаться счастья на сцене, чем на спине. Уровень конкуренции сейчас примерно одинаковый.

Если она хотела меня шокировать, это не сработало. По пути на свои прослушивания и обратно я видела множество проституток. Сразу за Курфюрстендамм все переулочки кишели ими – как мужчинами, так и женщинами; они заманивали клиентов из дверей или курсировали по грязным кафе.

– А еще Труде за деньги гадают по картам Таро, – продолжила Герда. – И это ей неплохо удается. Как-то раз она предсказала, что одна девушка скоро получит роль, и буквально на следующей неделе это случилось.

– Звучит заманчиво.

Я протянула руку за чашкой, и Оскар прыгнул с моих коленок, оставив шерстинки на полотнище юбки. Улыбаясь, я взялась счищать их и пояснила:

– Мама будет в ярости. Кошачья шерсть в ее доме!

– Похоже, она тиран. Как вы это выносите?

– Думала, это не продлится долго, – вздохнула я. – Откладывала все, что могла, на аренду комнаты, но теперь...

– Что?

Взгляд Герды сфокусировался на мне. Было отвратительно признаваться, но я произнесла:

– Думаю, теперь придется заниматься уборкой в чужих домах.

– Почему бы вам не попробовать выступить на сцене?

– На сцене? – засмеялась я. – У меня нет к этому таланта.

– У вас есть это, – указала она на мои ноги. – Такие ножки...

– Могут сделать мне состояние. Так всегда говорила моя бабушка.

– Она была права. – Герда зажгла сигарету. – Я видела девушек с гораздо худшими задатками, чем у вас, но они устраивались прекрасно. Вам надо подумать об этом.

Я отхлебнула кофе; это был по большей части цикорий, со слабым кофейным вкусом.

– Вы сказали, что можете симитировать Хенни Портен, – напомнила Герда. – Покажите мне.

– Сейчас?

Она кивнула:

– Мне хотелось бы взглянуть на это, если вы не против.

Я приняла позу, сложила руки аркой над головой, как делала неоднократно для своих подруг в Веймаре, и надрывно-страдальческим тоном произнесла:

– Почему ты оставляешь меня, Курт? Разве ты не видишь, что я очарована бароном?

Герда сидела неподвижно, вокруг нее собралась дымная пелена.

– Видите, – пожала я плечами. – Ни капли таланта.

– Но мы всего лишь доказали свою правоту. Портен определенно переоценивают. Пройдя обучение актерскому мастерству и поработав с голосом, вы сделаете лучше. Не вижу причин, чтобы этого не произошло.

– Лучше, чем Портен? Она знаменита. Не думаю, что я когда-нибудь смогу стать такой, как она.

– А вам это и не нужно. Забыли? Вы же хотите создать себя сами.

Герда затянулась и передала мне сигарету через стол. Пока я курила, покашливая, потому что табак был крепкий, хозяйка вернула поднос с чашками на кухню. Кошки вились у ее ног. Покончив с сигаретой, я огляделась в поисках пепельницы. В комнате было полно всяких безделушек, но пепельница на глаза не попадалась, пока Герда не подсказала мне:

– На столе. Горшок.

Наклонившись над обколотым керамическим горшком, я увидела внутри его слой грязной жидкости глубиной сантиметров пять с плавающими на поверхности окурками.

– Это чтобы меньше пахло, – пояснила хозяйка, возвращаясь ко мне.

Я бросила окурков в горшок. Это не помогло: в комнате воняло табачным дымом. Я потянулась за своим пальто. Приближалась осень, предвестница очередной холодной зимы. По дороге сюда я продрогла, а путь домой предстоял неблизкий, если только не подвернется трамвай, но время уже было позднее. Уходить совсем не хотелось. Гостеприимная Герда дала мне ощущение покоя и безопасности. Я подумала, что мы могли бы стать подругами. Должно быть, она придерживалась такого же мнения, потому что, когда я собралась поблагодарить ее и распрощаться, быстро сказала:

– Если дома станет совсем плохо, вы всегда можете остаться здесь и спать на диване. Труде не станет возражать, а у меня будет помощь в оплате жилья, когда вы найдете работу. Это недорого. Время от времени я совершаю поездки по заданиям редакции, так что иногда эта комната будет в вашем полном распоряжении. А когда я тут, буду наслаждаться вашей компанией.

Я повернулась к ней. Глаза ее горели.

– Компанией? – переспросила я.

– А что, да. – Речь Герды ускорилась. – Я познакомлю вас с жильцами. Девушки здесь знают всех, кто ставит голос и учит актерскому мастерству. Вы сможете подготовиться к поступлению в театр или академию. Я буду вам помогать в выборе ролей. У меня есть много книг с пьесами.

Голос Герды слегка дрожал. В комнате, тускло освещенной одной лампой, от которой было больше тени, чем света, моя приятельница выглядела иначе – милее. Простая девушка вроде меня и многих других, пытающихся как-то выжить. Я вспомнила мадемуазель и то, как мне хотелось убрать с ее шеи непослушный локон, потом Райца – как я взяла его руку и он накрыл ее своей. Будет ли на этот раз иначе? Меня всегда озадачивало собственное влечение к женщинам, и я ощутила некое необъяснимое родство с Гердой, не как с кровной родственницей, к примеру с Лизель, а настоящую сестринскую близость, какой я ее себе представляла.

– Могу остаться сейчас, – предложила я, и Герда кивнула.

– Вы можете, – сказала она. – Но хотите ли?

– Могу попробовать, – улыбнулась я. – Раньше никогда такого не делала. Но задумывалась об этом.

Произнося эти слова, я неуверенно протянула руку и погладила Герду по щеке. Кожа была сухая. Моя новая подруга не пользовалась никакими кремами, даже дешевым лосьоном, который продавали в каждой аптеке; по ощущениям он оставлял на лице пленку.

Любопытство сделало меня наивной, открытой, и я вдруг услышала свои слова:

– Вы мне покажете как?

Глаза у Герды расширились, как у кошки.

– Хорошо, – хрипло произнесла она, – чему вы хотите научиться?

Я задержала руку на ее лице:

– Всему.

В ней вспыхнуло желание. Такое я уже видела однажды, в тот вечер, когда соблазнила Райца. Но Герда была на него не похожа, она не прикрывала свои потребности показным стыдом или ложью. На ее лице, юном и дерзком, отобразилось все. Она пылала так, будто могла дойти до точки плавления. Это меня восхитило. Это было завоевание и уступка. Две женщины, равные, и ничто не стояло между нами, кроме нашего замешательства и нерешительности.

Вдруг я ее поцеловала. На губах остался несвежий вкус табака. Когда Герда поцеловала меня в ответ, я почувствовала, как она дрожит. Мне это ощущение понравилось, ранимость колыхалась под ее плотью, как марево. Пока она вела меня в маленькую спальню, отгороженную от гостиной, я привыкала к ее прикосновениям. Она занималась этим и раньше, возможно, не слишком часто, но вполне достаточно для того, чтобы ее поцелуи стали искусными, а руки, ловко юркнув под мою одежду, расстегнули и сняли вещи, пока я не предстала перед нею нагой.

– Mein Gott! – выдохнула Герда. – Ты прекрасна, как богиня.

По ней было видно, что это не просто слова. У самой Герды были маленькие груди и полные бедра. Под длинной юбкой и английской рубашкой скрывалось грушеподобное тело, что делало ее застенчивой, уязвимой и еще более милой. Она хотела, чтобы к ней относились как к серьезному журналисту, стремилась влиять на изменения в мире, но, как и все люди, томилась по любви. Мне это было понятно. Я сама жаждала того же, и ее внезапное «а-ах», вырвавшееся, когда я опустилась на колени, чтобы сжать ее, сделало всю сцену похожей на спуск в скоростном лифте. Герда напряглась под моими губами и громко застонала, а потом мы повалились на смятую постель, перепутались и задышали тяжело, слившись ладонями и языками. Я впиалась в нее, мне хотелось доставить ей удовольствие, и когда это случилось, в ушах у меня раздался ее крик, дыхание стало прерывистым, и она прошептала, не в силах поверить самой себе:

– Ты никогда раньше этого не делала?

– Никогда, – ответила я.

И тогда она закинула мои руки мне за голову и, лизнув соски, стала, дразня, медленно спускаться вниз, на миг с лукавой усмешкой подняла на меня взгляд и сказала:

– Если я это сделаю, то, возможно, больше не дам тебе уйти.

– Сделай это, – шепнула я. – Пожалуйста...

Она пробовала меня, будто я была изысканнейшим лакомством, снимала языком кожу с нежного фрукта и всасывала его в себя кусочек за кусочком, пока не добралась до самой жгучей точки, и я начала задыхаться.

Я считала, что у меня уже был любовник. Как же я ошибалась.

Домой я приплелась на следующий день, в субботу, чувствуя себя благоухающей и почти бесплотной, как лепестки олеандра. Упаковала свои вещи на глазах у сидящей с каменным лицом матери и разинувшей от изумления рот Лизель.

– Это приличный пансион, – сказала я. – Для девушек. Его хозяйка фрау Труде следит за тем, чтобы постоялицы имели достойную работу. Я живу в одной комнате с писательницей.

Конечно, это была ложь. У меня больше не было работы, ни достойной, ни какой бы то ни было еще. А когда на выходе из пансиона мы столкнулись с Труде и Герда представила меня, я увидела развязную бабенку в выцветшем домашнем халате и с пробивающейся сединой у корней крашенных рыжих волос. Она оказалась весьма приятной и рассеянной, как и описывала ее Герда. На мое заявление, что я сюда переезжаю, эта женщина ответила какой-то непонятной улыбкой.

– О, как мило. Герда, ты нашла новую подружку? Надеюсь, она любит кошек. Добро пожаловать, дорогая.

Мама ничего этого не знала, но у нее был безошибочный слух на ложь.

– Фрау Труде? – нахмурилась она. – Ты даже не спросила фамилию владелицы?

– Гендельман, – сказала я. – Или Герберт. Точно не помню. Я только что познакомилась с ней, и она очень строгая.

Я продолжала изображать, что ситуация вполне нормальная, хотя никакие мои слова не убедили бы мать в этом. Перед глазами у меня проплывали картины того, как мы лежим с Гердой на кровати, наши руки и ноги переплетены и она подносит к моим губам сигарету. Незамужние девушки живут дома: такой была единственная норма, которую признавала мать. Все остальное было неприемлемо. Но мне уже скоро исполнится двадцать один. Она не могла остановить меня, а если бы попыталась, я бы ей этого не позволила.

Она и не пыталась. Приняла мой прощальный поцелуй в щеку и разрешила Лизель проводить меня до двери.

– Я восхищаюсь тобой, Марлен, – неожиданно призналась моя сестра. – Ты делаешь то, что хочешь.

Это были самые приятные слова, сказанные ею мне за всю жизнь, и моя тревога немного утихла. Мама переменит мнение. Она не устоит – захочет увидеть и пансион, и мою соседку по комнате. Хотя она больше и не держала меня под ногтем, ей нужно будет убедиться, что я не выставляюсь напоказ, не делаю спектакля из своего существования. Как она отреагирует, когда узнает, что я больше не играю на скрипке, а живу с лесбиянкой и готовлюсь стать актрисой... Застрывать на этом сейчас мне не хотелось.

Лучшего момента не найти.

Буду жить сегодняшним днем и разбираться с будущим, когда оно настанет.

Глава 4



В постели Герда была пылкой, но в остальном оказалась не менее деспотичной, чем моя мать. Благодаря контактам с газетами объявления о приеме на работу и списки телефонов оказывались у нее в руках раньше, чем в печати. Каждое утро она обводила карандашом все потенциально приемлемые предложения и заставляла меня снашивать ботинки, рыская по прокуренным театрам и мюзик-холлам в поисках работы.

Никто не нанял бы меня без опыта, однако несколько не слишком известных ревью, когда увидели мои ноги, выразили заинтересованность, при условии что я продемонстрирую способность вести мелодию. Это я могла, петь мне всегда нравилось. Мама поощряла пение под фортепиано дома, но не на публике. Она считала это занятием низших классов, если только человек не пел в опере или в церкви. Но для меня пение было сродни игре на скрипке, только более личной, интимной. Я могла использовать свой голос как инструмент, причем таких тонких нюансов мне никогда не удавалось вывести смычком; моя музыкальная подготовка подсказывала это. Для того чтобы выучить популярные мелодии, я начала заниматься по купленным в нотных магазинах песенникам, а Герда позаботилась о том, чтобы одна из жилищ пансиона, рыжеволосая Камилла Хорн, порекомендовала меня своему педагогу по вокалу профессору Дэниелсу. Герда также настояла на том, что мне необходимо учить английский, дабы улучшить произношение при исполнении популярных американских песен, и нашла женщину по имени Элси Грейс, которая давала уроки актерам. Это была жутковатая на вид старая карга, с размазанной подводкой вокруг глаз и горбатой спиной. Жила Элси в доме без лифта. Но она оказалась забавной и до мозга костей британкой; заставляла меня повторять детские стишки и потчевала за чаем историями о сексуальных похождениях своей юности.

– Конечно, это весьма эффективный метод изучения языка, – рассмеялась Герда, когда я показала ей, как хорошо могу продекламировать «Манда перепрыгнула через Луну».

Герда платила за эти уроки, несмотря на мои протесты. Чтобы возместить ей затраты, я отправилась к Жоли и объяснила ей, в какой нахожусь ситуации. Жена моего дяди объявила, что изучать актерское мастерство – это отличная идея. Она говорила так, будто я собралась заняться вязанием, а еще одолжила мне лисий воротник и немного денег, которые я пообещала вернуть. Из этой суммы я заплатила за месяц проживания в пансионе и купила продукты, на этот раз вопреки протестам Герды.

– Мы с тобой заодно, – сказала я, – а значит, я должна вносить свою долю.

– Да, но я, вероятно, никогда не достигну желаемого, а ты можешь, – ответила она. – Ты добьешься успеха. Я в тебя верю.

И она действительно верила – больше, чем я сама. Герр Дэниелс был одним из самых прекрасных педагогов в Берлине. До войны он занимался с оперными певцами, пока экономические неурядицы не заставили его взяться и за других учеников. Он использовал неорто-

доксальный метод расслабления голосовых связок – заставлял нас по-птичьи важно вышагивать по комнате, вскрикивать и взмахивать руками, и только после этого мы приступали к гаммам и отработке речевых интонаций под фортепиано, чем и занимались, пока не начало саднить горло.

– У вас интересный голос, – сказал мне профессор. – Не сильный – его не будут распространять в записях, но определенный стиль в нем есть. Вам нужно научиться петь ниже. Не стремитесь брать ноты, которые вам недоступны. Это ни к чему. Разрабатывайте свой регистр.

Вечерами я исполняла для Герды заученное днем и популярные скандальные песенки Брехта, пока она не притягивала меня к себе с рыком:

– Не могу больше это выносить! Ты меня убиваешь.

Может, для нее я и была убийственно хороша, но те, кто меня прослушивал, столько раз говорили: «Нет. Следующий», что я сама удивлялась своей решимости. Да и Герда отказывалась смириться с поражениями.

– На это нужно время. Смотри, – потрясла она газетой. – Ревю Рудольфа Нельсона объявляет о наборе. Ты должна пойти. Ты умеешь петь, и... – она многозначительно опустила глаза, – в объявлении сказано, что у претенденток должны быть хорошие ноги.

– Что ж... – Я выдохнула дым. Курила я много, это помогало приглушить голод, потому как Герда и наш текущий бюджет держали меня в строгости. – Если им нужны ноги, я их предоставлю.

Я не надеялась, что меня примут, однако на всякий случай нацепила черные чулки, юбку покороче и накинула на плечи облезлую волчью шкурку, которую откопала в магазине подержанного платья. Исполняя на просмотре песенку, я приплясывала – вскидывала ноги и кружилась; хорошим танцором я не была, но старалась изо всех сил. Каждой претендентке был присвоен номер, как в лотерее. Объявляя номера победителей, управляющий назвал и мой. У меня появилась работа.

Мы с Гердой отметили это дешевым шампанским, поступившись своим недельным мясным рационом.

– Вот видишь? – сказала она, поднимая бокал. – Я же тебе говорила. Ты на правильном пути.

– Это всего лишь хор. – Я отпила шампанское, в котором не было пузырьков. – И оплата просто ужасающая. Рудольф Нельсон, очевидно, не считает, что его девушкам нужно питаться.

– И все равно это работа, – назидательно произнесла Герда и, помолчав, призналась: – У меня есть новое задание. В Ганновере, трудовой конфликт. Приступаю на следующей неделе.

– О, это здорово! – воскликнула я и начала ее целовать, но она отвернулась.

– Уеду на целый месяц. Комната целиком в твоём распоряжении.

– Я буду скучать по тебе, – заверила я подругу и подумала: «Почему она так странно себя ведет?» – Если ты беспокоишься насчет кошек, обещаю хорошо о них заботиться.

Оскар меня обожал. Каждую ночь он спал на моей стороне кровати, тогда как Фанни, кошечка, осталась преданной Герде: терпела мое присутствие, но соблюдала дистанцию.

– А пока буду занята в этом ревю, – добавила я. – Они дают одиннадцать представлений в неделю, включая дневные, но я постараюсь звонить тебе как можно чаще.

– Звонить? – фыркнула Герда. – Слишком дорого. Кроме того, телефон у Труде не работает в половине случаев, если только позвонить не просит Камилла. Почтовый голубь был бы надежнее.

– Ты что, расстроена? Разве тебя не радует новое задание? Трудовой конфликт – это, кажется, событие, о котором ты всегда хотела написать.

– Все эти девушки в хоре... – Голос Герды прозвучал бесстрастно. – Ты, конечно, будешь очень занята.

Я притихла и по угрюмости ее лица поняла, что собственничество – это не только кошачья черта.

– Ты же не думаешь, что я стану?.. Герда, это нелепо.

– Правда? – Она поставила бокал. – Ты никогда не думала о том, чтобы быть с другими девушками? Я знаю, с мужчинами ты тоже была близка. Следует ли мне беспокоиться и об этом?

– Я сейчас не думаю ни о девушках, ни о мужчинах. Я пока не решила, действительно ли предпочитаю какой-то пол или мне просто нравятся отдельные люди. Я с тобой. Но полагаю, мы не должны владеть друг другом, как вещью. Ты тоже можешь встретить в Ганновере другую девушку. Если это случится, я возражать не стану.

Герда озадаченно взглянула на меня:

– Не станешь?

– Нет. И если я заинтересуюсь кем-нибудь, то сразу скажу тебе.

– Надеюсь, – буркнула она. – Я не ревнива, просто реалистична.

Однако ее слова дышали ревностью. Интуиция подсказывала мне, что Герду надо успокоить. Мы впервые расставались на долгое время, и я обнаружила, что моя подруга не уверена в себе. Журналистка, заявлявшая о высочайшем презрении к ценностям нашего общества, оказывается, не настолько пренебрегала ими, как думала сама и хотела показать. И пусть мы никогда не произносили вслух, что любим друг друга, и не обсуждали исключительность наших отношений, я видела, что Герда в смятении. Но я уже знала, что желание может утихнуть, а потому стараться завладеть кем-то – глупо. Лучше, пока чувство длится, любить свободно, ни на что не претендуя.

– Ты мне не доверяешь? – спросила я. – Я тебе верю и потому счастлива.

– Да?

Герда выглядела такой одинокой и несчастной, что стала не похожа на саму себя, обычно уверенную и решительную.

Я притянула ее ближе и прошептала:

– Да. Очень счастлива. И никуда не уйду.

– А я счастлива с тобой, – пролепетала она, уютно устраиваясь в моих объятиях. – Только знаю, что работа в хоре приведет к чему-то большему, вот увидишь.

Это было для нее типично: льстить мне и уклоняться от неприятных вопросов. Когда я обняла ее, то почувствовала укол сомнения. Герда не сказала, что доверяет мне, кроме того, она должна была бы порадоваться и за себя. У нее тоже были мечты, к исполнению которых она стремилась. Я не хотела, чтобы она жертвовала чем-то ради меня. Это напомнило мне мать и чувство обиды, которое могла повлечь за собой такая жертвенность. Мы с Гердой жили вместе и в то же время по отдельности. Я не знала, как сказать это, не причинив ей боли, и потому не сказала ничего. А про себя продолжила размышлять: может, я все-таки совершенно другая?

Только Герда успела уехать в Ганновер, как на пороге нашей комнаты возникла моя мать. Времени ей понадобилось больше, чем ожидалось. Но я испытала облегчение оттого, что мне не придется знакомить ее со своей мнимой соседкой по комнате. Оценкой нашему жилищу послужило громкое возмущение:

– У вас кошки!

Оскар и Фанни забились под кровать – они испытывали отвращение к чужакам. Но сама комната была безупречной; мать натаскала меня поддерживать чистоту. Каждый день я мыла пол и вычищала кошачий ящик. Лакированную мебель натерла до блеска, убрала

лишние вещи и развела цветы в горшках. Маме не к чему было придраться, но разве ее это когда-нибудь останавливало?

– И комната такая маленькая. – Мать взгляделась в меня. – Где ты занимаешься на скрипке?

Скрипка лежала на стопке книг рядом с диваном, в футляре, из которого я не извлекала ее с того самого вечера, когда впервые осталась у Герды. Мама футляр не заметила, поэтому я выступила вперед, чтобы закрыть его собой, а про себя подумала: «Почему мне все еще нужно притворяться? Очень скоро она обо всем узнает».

Подняв подбородок, я сказала:

– А я сейчас не занимаюсь.

– Да?

– Вывихнула запястье, – придумала я и взялась за мнимый больной сустав. – Мой преподаватель посоветовал сделать перерыв на месяц, чтобы все зажило. Но все равно больно.

– Это не тот преподаватель, которого нашла я. Он сказал, что не видел тебя уже несколько месяцев.

– Новый... – Зачем я лгала? Я снова чувствовала себя школьницей, осуждающей собственное непослушание. – Профессор Оскар Дэниелс. Он... он еще преподает вокал.

Мать смотрела на меня не мигая. Стоило ей задать всего несколько вопросов, и стало бы ясно, что опыт профессора Дэниелса не подразумевает уроки игры на скрипке.

– Вокал? – повторила она. – Это еще зачем?

– Чтобы петь. Я занимаюсь, чтобы... – Увидев, как помрачнело лицо матери, я поспешно закончила: – Я собираюсь стать актрисой. У меня есть работа – в хоре ревю Нельсона. Но я планирую поступить в академию Макса Рейнхардта, как только накоплю денег на уроки актерского мастерства.

Мама могла бы захохотать, если бы была на это способна.

– Какое глупое расточительство! У тебя талант от Бога к скрипке, а ты продолжаешь забивать себе голову какими-то нелепицами.

– Может быть, это и нелепица. Но я так хочу.

До настоящего момента я сама не была в этом уверена. Мне нужно было как-то себя поддержать. Неспособная вынести еще хоть один раунд прослушиваний, я последовала совету Герды. Однако у меня не было ощущения, что это мой выбор, просто я пошла по пути наименьшего сопротивления. Нельзя сказать, чтобы путь этот оказался легким. И теперь высокомерное осуждение, отпечатавшееся на лбу матери, зацементировало для меня эту дорогу. Я стану актрисой, даже если это убьет меня, только бы доказать ей, что она не права.

– Актрисой, – произнесла мать. – Моя дочь. Мария Магдалена Дитрих, дочь Фельзинг и прославленного лейтенанта, который успел послужить в гренадерах у кайзера. На сцене.

– Папа был полицейским в Шёнеберге, – заметила я.

Глаза матери сузились.

– Ты будешь оскорблять память своего отца?

– Нет. Но и притворяться, что его персона была значительнее, чем на самом деле, не стану. Все мы только то, что есть, не более. Даже ты, мама. Это моя жизнь. Добьюсь ли я успеха или провалюсь, я должна сделать это на своих условиях.

Мать выпрямила спину и расправила плечи под пальто:

– Ты всего лишь навлечешь позор на себя и на всю семью. Ты будешь посмешищем, стыдобой для всех нас.

– Не для всех. Дядя Вилли поддерживает меня. И его жена тоже. Они считают, это отличная идея. Даже Лизель, когда я уходила из дому, сказала, что восхищается мной. Ты одна думаешь, что зарабатывать на жизнь чем-то, кроме подметания полов, унижительно.

– Не упоминай при мне эту женщину Жоли, – сказала мать. – Или свою сестру. Я этого не потерплю. Лизель, как и ты, потеряла рассудок. Она связалась с каким-то Георгом Вильсом, управляющим кабаре. Этот тип скользкий, как торговец. Она говорит, что они поженились. Я вне себя! Обе мои дочери поддались воздействию хаоса и заразились социалистической лихорадкой, которая порочит честь нации.

Лизель и парень из кабаре? Мне хотелось заплодировать. Кто бы мог подумать, что она на такое способна!

– Прости, мама, но я должна это сделать. Если ничего не получится, что ж, тогда я всегда смогу вернуться к швабре и тряпке.

Она стиснула челюсти и процедила сквозь зубы:

– Ни марки! Не приходи ко мне просить, когда тебе придется вернуться к швабре и тряпке, как ты выражаешься, потому что я ничего тебе не дам. До тех пор, пока ты не извинишься и не вернешься к занятиям скрипкой.

– Не приду, – резко ответила я. – Лучше буду голодать.

Она кинулась прочь и взбудоражила весь пансион, громко хлопнув входной дверью. Не прошло и нескольких секунд, как Труде и Камилла уже были у моего порога.

– Дорогая, дорогая, – квохтала Труде.

Камилла закурила сигарету и привалилась к дверному косяку; лицо ее уже было раскрашено к нашему вечернему шоу. Ее тоже наняли в ревю, но на меньшее количество выступлений, потому что она была зачислена в академию Рейнхардта в качестве инженю. Камилла торопила меня занять освободившееся после ее поступления в академию место у преподавателя драмы, но у меня все еще не хватало денег, чтобы платить за уроки.

– Похоже, это и была Дракон, – заметила Камилла.

Ее непоколебимая беззаботность восхищала меня. Ничто не задевало ее слишком сильно, это было так по-берлински.

– Она лишила меня всего, – сумрачно сказала я. – Не то чтобы она когда-нибудь мне что-нибудь давала для старта...

Произнося это, я внутренне морщилась от собственной лжи. Мама дала мне многое, но я была слишком расстроена, чтобы признать это. Она воспитала во мне самодисциплину и честное отношение к труду. Она платила за мое обучение в Веймаре и наделила меня, используя свои методы, силой для того, чтобы идти собственной дорогой в жизни. Но все, что она мне давала, имело цену – ее цену. И я находила эту цену слишком высокой.

– *Zu schlecht*, – растягивая слова, произнесла Камилла, а Труде тем временем мяла свои руки. – Очень плохо. Полагаю, это означает, что теперь тебе придется стать актрисой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.